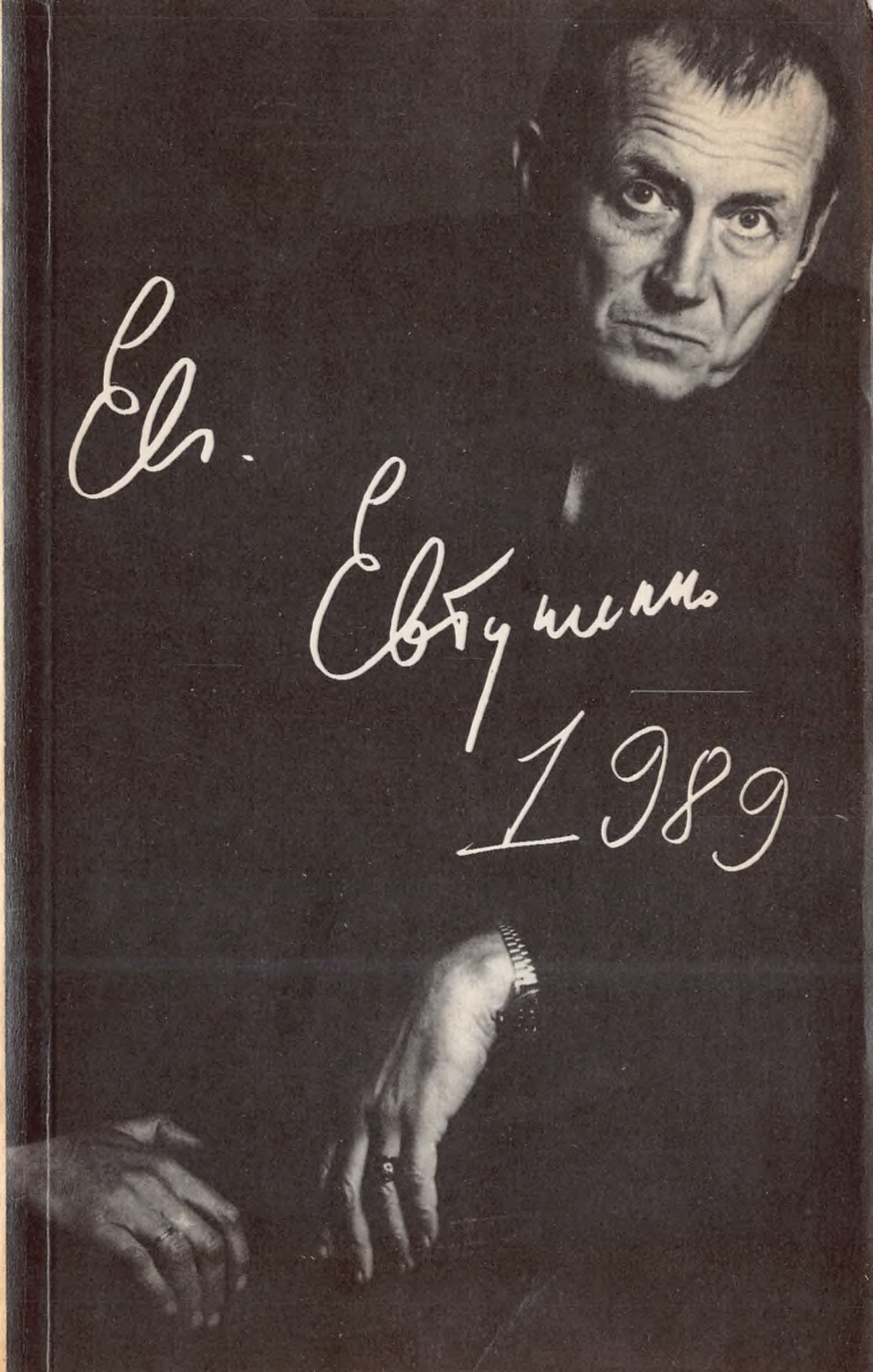


Ch.

Сыма

1989



ЕВТУШЕНКО — 89

СП “Совит-турс” — 90

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Русское чудо (стихи).....	6
Афганский муравей (стихи).....	8
Баллада о большой печати (стихи).....	9
Танки идут по Праге (стихи).....	13
Возрождение (стихи)	15
Дробицкие яблони (стихи).....	17
Злорадство (стихи).....	21
Первый деревенщик (стихи)	22
Письмо афганцу (стихи)	23
Вратарь выходит из ворот (стихи)	25
Харьковское молоко (стихи)	27
Ночной митинг (стихи)	28
Харьковские старушки (стихи)	31
Вавилонская башня (стихи)	33
Подавляющее большинство (стихи).....	35
Сорок девятый (стихи).....	36
Красное и черное (стихи)	39
Берлинская стена (стихи)	42
В каземате (стихи)	44
Раздвоение (стихи)	46
Разговор трех книг	48
Дай Бог!	49
Невоспитанность воспитания (статья).....	50
С женщин начинается народ (статья)	67
Выбор будущего (статья)	75
Лженабат (статья)	80
Безнаказанность насилия? (статья)	83
Победы и шутки демократизации (статья).....	85
Речь на I съезде	90
Почерк, похожий на журавлей (статья)	97
Евангелие "от Пазолини" (статья)	112
Боб Раушенберг и царевна-лягушка (статья)	116
Маленькое, но тяжкое знамя (статья)	120
Контрамарка на процесс (статья).....	124
Деревянная Москва (статья).....	131
Речь на II съезде	151
Печально, но твердо (статья)	154
Забастовка сердца (стихи)	157

Предостерегающие мысли несчастливому человеку (статья)	159
Поможем свободе (стихи)	165
Декларация против расизма (статья)	167
Непроизнесенная речь (статья)	171
Половинчатость (стихи)	174

ПРЕДИСЛОВИЕ

1989 год был особым и для всей страны, и для меня лично.

Для страны — потому, что впервые с 1917 года у нас состоялись первые демократические выборы. Не настолько демократические, как хотелось бы, но все же... Могло ли быть представимым еще три года назад появление горьковского заложника демократии — Сахарова под кремлевскими сводами, да еще и с депутатским флажком на груди? Гигантскими нравственными шагами вперед были негативные политические оценки нашего военного вмешательства в Афганистане и в Чехословакии, признание существования секретных протоколов Молотов-Риббентроп. Однако, в том же самом году были и кровавые события в Тбилиси, и других республиках... Было улюлюканье, затыкание рта Сахарову издевательскими аплодисментами... Была, наконец, смерть самого Сахарова, да и смерть многих иллюзий, надежд на молниеносное нравственное и экономическое выздоровление... Год невиданного политического подъема на исходе стал годом многих политических разочарований, экономического пессимизма. Однако, не будем несправедливы к нему, шумному и многострадальному, но все-таки невиданно доселе гласному, одна тысяча девятьсот восемьдесят девятому году. Именно он, этот прошедший год, инерцией накопленной гражданской энергии отменил в 1990 году статью шестую Конституции, ставшую непреодолимым тормозом демократизации. Лично я обязан этому году тем, что он дал мне честь и горечь нелегкого депутатского опыта: честь, потому что я был избран серьезным думающим городом — Харьковом, и горечь — потому, что я почувствовал себя бессильным помочь сразу всем, решить сразу все проблемы.

Эта книга с цифровым сухим названием "1989" отражает и то, что происходило в нашей стране, и в моей душе. Я включил в эту книгу и стихи, и статьи, рожденные в этом году. Но думаю, что я был прав, включив в нее и те стихи, которые были написаны гораздо раньше, но напечатаны впервые лишь сейчас — через много лет.

Для читателей — это стихи именно этого года, года, который вернул нашему народу столько запрещенных ранее стихов, романов. Я включил в эту книгу “Декларацию против расизма” и стихотворение “Поможем свободе”, напечатанные мной в начале 1990. Но их главные тезисы и строки были рождены именно в нем, в незабвенном 1989 году. Этот год убедительно доказал, что одной свободы слова мало. Свободой слова нельзя накормить.

Но без свободы слова невозможна свобода мышления, как такового, — в том числе и экономического.

В Библии сказано: “Вначале было Слово, и слово было Бог...” Если исчезнет божественность Слова и оно превратится лишь в рычаг политики, то свобода бездарного слова никогда не приведет людей к счастью.

Евг. Евтушенко

2 мая 1990 г.

РУССКОЕ ЧУДО

Есть в Москве волшебный гастроном.
Пол — ну хоть катайся на коньках.
Звезд не сосчитает астроном
на французских лучших коньяках.
Просто — без нажатия пружин
там, как раб, выскакивает джинн.
Там и водка — не из чурбаков.
Вся в медалях — словно Михалков.
Ходит шеф с трясущейся губой:
“С тоником сегодня перебой,
Кока-колы, извините, нет.
Запретил цензурный комитет.
Ну а в остальном, а в остальном...” —
Он рукой обводит гастроном,
принимая вдохновенный вид,
словно он по коммунизму гид.

В коммунизме — мощный закусон!
Как музейный запах — запах семг,
и музейно выглядит рыбец,
как недорасстрелянный купец.
У дверей в халате белом страж.
У него уже приличный стаж.
Но, к несчастью, при любом вожде
стражу тоже нужно по нужде.
Ну а тетя Глаша мимо шла.
Видит — магазин, да и зашла.
Что за чудо — помутился свет:
есть сосиски, очереди нет.

“Вырезка” — на мясе ярлычок.
Как бы не попасться на крючок.
Ведь она считала с давних лет —
вырезки есть только из газет.

Тетю Глашу пошатнуло вдруг,
и авоська выпала из рук.
Передо мною, в трех шагах,
вобла, как невеста в кружевах.

Тетя Глаша — деньги из платка:
“Вот уж я умаслю старика...”
Но явился страж и, полный сил:
“Есть сертификаты?” — спросил.
Та не поняла: “Чего, сынок?”,
а сынок ей показал порог.
Он-то знал, в охранном деле хват,
пропуск в коммунизм — сертификат.
И без самой малой укоризны
выстуженной снежною Москвой
тетя Глаша шла из коммунизма
сгорбленно, с авоською пустой.
И светила ей виденьем дальним
вобла сквозь хлеставшую пургу,
как царевна, спящая в хрустальном,
высоко подвешенном гробу...

1968

Впервые напечатано

1989

АФГАНСКИЙ МУРАВЕЙ

Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползет по скуле.
Очень трудно ползти... Мертвый слишком небрит,
и тихонько ему муравей говорит:
“Ты не знаешь, где точно скончался от ран.
Знаешь только одно — где-то рядом Иран.
Почему ты явился с оружием к нам,
здесь впервые услышавший слово “ислам“?
Что ты дашь нашей родине — нищей, босой,
если в собственной — очередь за колбосой?
Разве мало убитых вам, — чтобы опять
к двадцати миллионам еще прибавлять?“

Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползет по скуле,
и о том, как его бы поднять, воскресить,
муравьев православных он хочет спросить,
но на северной родине сирот и вдов
маловато осталось таких муравьев.

1983

Впервые напечатан
1989

БАЛЛАДА О БОЛЬШОЙ ПЕЧАТИ

На берегах дремучих ленских
во власти глаз певучих женских,
от приключений деревенских
подприустав в конце концов,
амура баловень везучий,
я изучил на всякий случай
терминологию скопцов.
Когда от вашего хозяйства
отхватят вам лишь только что-то,
то это, как ни убивайся,
всего лишь малая печать.
Засим имеется большая,
когда, ничем вам не мешая,
и плоть и душу воскрешая,
в штанах простор и благодать.

Итак, начну свою балладку,
Скажу вначале для порядку,
что жил один лентяй — Самсон.
В мышление — общая отсталость,
в работе — полная усталость,
но кое-что в штанах болталось,
и этим был доволен он.
Диапазон его был мощен.
Любил в хлевах, канавах, рощах,
в соломе, сене, тракторах.
Срывался сев, срывалась дойка.
Рыдала Лизка, выла Зойка,
а наш Самсон бессонный бойко
работал, словно маслобойка,
на спиртоводочных парах.

Но рядом с нищим тем колхозом
сверхисторическим курьезом
трудились впрок трудом тверезым
единоличники-скопцы.
Сплошные старческие рожи,
они нуждались не в одеже,
а в перспективной молодежи,
из коей вырастут надежи —
за дело правое борцы.

И пропищал скопец верховный:
“Забудь, Самсон, свой мир греховный,
наш мир безгрешный возлюбя.
Я эту штучку враз оттяпну,
и столько времени внезапно
свободным станет у тебя.
Дадим тебе, мой друг болезный,
избу под крышею железной,
коня, коров, курей, крольчих
и тыщу новыми — довольно?
Лишь эту малость я безбольно
стерильным ножичком чик-чик!”

Самсон ума еще не пропил.
Был у него знакомый опер,
и, как советский человек,
Самсон к нему: “Товарищ орган,
я сектой вражеской издерган,
разоблачить их наде всех!”

Встал опер, свой наган сжимая:
“Что доказать скопцы желают?
Что плох устройством белый свет?
А может, — мысль пришла тревожно, —
что жить без органов возможно?”
И был суров его ответ:
“У нас, в стране Советской, нет!”

В избе, укрытой темным бором,
скопцы, сойдясь на тайный форум,
колоратурно пели хором,
когда для блага всей страны
Самсон — доносчик простодушный —
при чьей-то помощи радушной
сымал торжественно штаны.

Следя с животным интересом
и за размером, и за весом,
как будто в стереокино,
скопцы из мрака наблюдали
явленье красочной детали,
какой не видели давно.

И повели Самсона нежно
под хор, поющий безмятежно,
туда, где в ладане густом
стоял нестрашный скромный стульчик,
простым-простой, без всяких штучек,
и без сидения притом
(оставим это на потом).

И появился старикашка,
усохший, будто бы какашка,
Самсону выдав полстакашка,
он прогнусил: “Мужайсь, родной!“,
поставил на пол брус точильный
и ну точить свой нож стерильный
с такой улыбочкой умильной,
как будто детский врач зубной.

Самсон решил, момент почуя:
“Когда шагнет ко мне, вскочу я
и завоплю что было сил!“ —
но кто-то, вкрадчивей китайца,
открыв подполье, с криком: “Кайся!“
вдруг отхватил ему и что-то,
и вообще все отхватил.
И наш Самсон, как полусонный,
рукой нащупал, потрясенный,
там, где когда-то было то,
чем он, как орденом, гордился
и чем так творчески трудился,
сплошное ровное ничто.
И возопил Самсон ужасно,
но было все теперь напрасно.
На нем лежала безучастно
печать большая — знак судьбы,
и по плечу ему похлопал
разоблачивший секту опер:
“Без жертв, товарищ, нет борьбы“

Так справедливость, как Далила,
Самсону нечто удалила.
Балладка вас не утомила?
Чтоб эти строки, как намек,
здесь никого не оскорбили,
скажите — вас не оскопили?
А может, вам и невдомек?

1966

Впервые напечатано
1989

ТАНКИ ИДУТ ПО ПРАГЕ

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая — не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.

Боже мой, как это гнусно!
Боже, какое паденье!
Танки — по Яну Гусу,
Пушкину и Петефи.

Что разбираться в мотивах
моторизованной плетки?
Чуешь — наивный Манилов,
зубы Ноздрева на глотке?

Страх — это хамства основа.
Охотнорядские хари,
вы — это помесь Ноздрева
и человека в футляре.

Совість и честь вы попрали.
Чудовищем едет брюхастым
в танках-футлярах по Праге
страх, бронированный хамством.

Танки идут по склепам,
по тем, кто еще не родились.
Четки чиновничьих скрепок
в гусеницы превратились.

Разве я враг России?
Разве не я счастливым
в танки другие — родные —
тыкался носом сопливым?

Чем же мне жить, как прежде,
если, как будто рубанки,
танки идут по надежде,
что это — родные танки?

Прежде, чем я подохну,
как — мне не важно — прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой:

пусть надо мной без рыданий
просто напишут, по правде:
“Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге“.

Написано 23 августа
1968

Напечатано в декабре
1989, в альманахе
“Апрель“

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Есть русскость выше, чем по крови —
как перед нравственным судом,
родившись русским, при погроме
себя почувствовать жидом.

Но на Руси ища Вандею,
в иконы пулями плюясь,
пошли в чекисты иудеи,
как черносотенная мразь.

Всех заодно одемократив,
потом, как шлак, в один барак
швыряли вас, как равных братьев,
Иван-дурак, Исак-дурак.

Народов братство было люто.
Шли по велению вождя
то русский, то грузин в Малюты,
грузин, как русских не щадя.

Власть соловецкая давила
народ с помещечьим смешком,
как лапотком лжерусофила,
кавказко-римским сапожком.

И прежде выбитый, внедрялся,
как шагистический недуг,
дух офицерства, генеральства,
не русский дух, а прусский дух.

Куда, пути не различая,
ты понеслась по крови луж,
Русь — птица — тройка “чрезвычайки”,
кренясь от груза мертвых душ?

И несмотря на лавры в битвах,
в своей стране ведя разбой,
собою были мы разбиты,
как Рим разгромлен был собой.

И даже у ракет российских
был в судных всполохах зарниц
звук угрожающий раздрызга
последних римских колесниц.

Неужто русские, обрюзгнув,
свое падение проспят,
и в новом Риме — русско-прусском
произойдет сплошной распад?

Но есть еще в Россию вера,
пока умеют русаки
глазами чеха или венгра
взглянуть на русские штыки.

России внутренняя ценность
не в реставрации церквей,
а чтобы в нравственность, как в церковь,
водили мы своих детей.

Безнравственность — уже не русскость,
но если нравственность жива,
Россия выстоит, не рухнет,
отринет римский путь Москва.

А новый Рим — невозвратно
пускай развалится в грязи...
Где на Руси паденье Рима,
там — возрождение Руси.

Написано в 1972

напечатано в 1989

ДРОБИЦКИЕ ЯБЛОНИ

Лепесточек розоватый,
кожи девичьей белей
ты ни в чем
 не виноватый —
на рассвете слез не лей.

Улетевший с ветки, вейся,
попорхай —
 ну хоть чуток,
украинский, и еврейский,
общий,
 божий лепесток.

Что за слезы,
 Рувим Рувимович!?
В мае Дробицкий яр
 так хорош!
Быть евреем —
 и быть ранимейшим:
невозможно —
 не проживешь!

Если в землю,
 убитым дарованную,
вы воткнете
 в этом яру
вашу палочку
 полированную —
станет яблоней поутру.

По-над яром Дробицким —
 яблонные
лепесточки — лепестки,
словно платье
 воздушное свадебное,
все разодранное в клочки.
Человечество,
 слышишь,
 видишь —
здесь,
 у сестринской
 кровной криницы

Сара-яблонька
шепчет на идиш,
Христя-яблонька —
по-украински.
Третья яблонька —
русская, Манечка,
встав на цыпочки,
тянется ввысь,
а четвертая — Джан,
армяночка.
Все скелеты
в земле обнялись.

Кости в спор под землей
не вступают,
у костей
нету грязных страстей,
нет здесь членов
общества “Память“,
нету антисемитов —
костей.

Расскажи нам,
Рувим Рувимович,
как подростком,
в чем мать родила,
весь в кровище,
в лице ни кровиночки,
выползал,
разгребая тела.

Для того ли ты
выполз на солнце
и был сыном полка
всю войну,
чтоб когда-нибудь
в жидомасонстве
обвинили твою седину?!
Все мы — выпавшие
из своих колыбелей —
в расстрел.
Все мы — выползшие
из-под мертвых идей
и тел.

Мертвецами мы были
завалены.
Труп — на труп,
ну а сверх всего
придавило нас
трупом Сталина —
еле выбрались
из-под него.
По-над яром Дробицким
осенью,
когда листья горят,
как парча,
эту яблочную Колгоспию
охраняют овчарки,
ворча.
Мне дороже,
чем власть начальничья,
легкость яблонного
лепестка.
Не люблю я ничто
овчарочное —
спецсады
или спецвойска.

Что за слезы,
Рувим Рувимович?
Жизнь —
чернобылей череда.
Неужели мы все —
под руинищем
и не выползем никогда?

Выползаем.
Задача позорная,
но великая!
Лишь бы опять
не смогла бы
лопатка саперная
выползающих
добывать!

Лепесточек розоватый.
кожи девичьей белей,
ты ни в чем не виноватый,
на рассвете слез не лей.
Улетевший с ветки,
вейся,
попорхай —
ну хоть чуток,
украинский
и еврейский,
и тбилисский,
тоже близкий,
тоже божий лепесток...

1989

ЗЛОРАДСТВО

Легко клеймить в чужой стране бесправье,
а в собственной стране попать права.
Злорадинкой приправленная правда,
как будто кривда ржавая крива.

Легко и просто, возмущаясь кем-то,
увидеть, словно в зеркале кривом,
в чужом глазу соломинку ракеты,
когда в своем она торчит бревном.

Считать помойки чьи-то, ямы, лужи
и чьим-то язвам радоваться — срам.
Кому-то хуже — всем на свете хуже,
и все микробы в гости будут к нам.

Любовь неразделенная сбежала
и любит без любви — ей хоть бы хны!
Но нет неразделенного пожара,
неразделенной с кем-нибудь войны.

Всегда злорадство — это антибратство,
и шар земной шатает вкривь и вкось,
когда уже глобальное злорадство
из мелкого злорадства разрослось.

Как мерзко, если при землетрясеньи,
при геноциде или в недород
один народ без всяких угрызений
злорадствует, что мрет другой народ.

А если яды в легкие к нам влезли,
перед отравой общей мы равны.
Ничьей стране лекарством от болезней
не может быть болезнь другой страны.

1983

Впервые напечатано

1989

ПЕРВЫЙ ДЕРЕВЕНЩИК

Советский первый деревенщик
с пожаром, пляшущим в очках,
самосожженческий свой венчик
в глубинке тряс на облучках.

На шмоне мыслей, шмоне книжек
сумел он спрятать пистолет,
когда все внутренности выжег
прожегший сердце партбилет.

Не сдался, не утомился
и все метался, колесил.
От коммунизма гуманизма
он добивался что есть сил.

Вел непосильную он вспашку,
и сеял в землю сам себя,
колхозную невыливашку
пером отчаянным долбя.

Зачем он верил в угрызенья
попрателей крестьянских прав!
Спасти отобранную землю
нельзя, назад не отобрав.

Реликтовый крестьянин русский
обезземелен, разорен,
от государства ждет закуски.
А что свое! Лишь самогон.

Но в будущем не эфемерном
свой трактор, словно “шевроле“,
хозяин крепкий — русский фермер
ведет по собственной земле.

Мужик-холоп убог, увечен.
Хозяин — это царь-мужик,
и застрелившийся Овечкин
меж ними, рухнувший, лежит.

ПИСЬМО АФГАНЦУ

Брось, плечистый, речистый афганец,
кулаком над ученым трясти!
На войне одинокой израняясь,
он хотел твои ноги спасти.

В оправдании крови-опасность.
Что тебе неразумно велит
оправдать посылавших вас на смерть,
а спасавших от смерти — винить?

Разве этот оратор неважный,
для кого-то, к несчастью, смешной,
меньше был, чем афганцы, отважный,
но в сраженьи с афганской войной?

Разве он тебя бросил куда-то,
чтобы на раскаленном плато
ты, советский простой гладиатор,
погибал - неизвестно за что?!

Неоплатна любая кровинка.
Неутешно страна приняла
в сундуках из холодного цинка
еще теплые ваши тела.

Култ войны порожден бескультурьем.
Разве больше войны виноват
тот, кто вытащил стольких — из тюрем,
из-под стингеров — стольких солдат?

Стаду снова быть хочется кликой,
и опять поднимается вой
над наивной чуть-чуть, но великой
одуванчиковой головой.

Не хочу, чтоб ржався от горя,
караваном солдатской судьбы
к нам из Триполи или Анголы
плыли цинковые гробы.

У войны есть особое свойство —
на крови фронтовое родство.
Но неужто важнее — геройство,
и не важно — во имя чего?

Эх, афганец, обманутый малый,
не тряси кулаком, припади
к этой вдавленной, а не впалой,
всю эпоху вместившей груди.

Эх, афганец, неужто, неужто
даже во фронтовой полосе
знать, за что умираешь — не нужно?
Но тогда — кто такие мы все?

1989

ВРАТАРЬ ВЫХОДИТ ИЗ ВОРОТ

Л. Яшину

Вот революция в футболе:
вратарь выходит из ворот
и в этой новой странной роли,
как нападающий, идет.

Стиль Яшина —

мятеж таланта,
когда под изумленный гул
с гранитной грацией гиганта
штрафную он перешагнул.
Захватывала эта смелость,
когда в длину и ширину
временщики хотели сделать
штрафной площадкой —
всю страну.

Страну покрыла паутина
запретных линий меловых,
чтоб мы,

кудахтая курино,
не смели прыгнуть через них.
Внушала,

к смелости ревнуя,
ложно-болельщицкая спесь:
вратарь,
не суйся на штрафную!

Поэт,
в политику не лезь!

Ах, Лев Иваныч,
Лев Иваныч,
но ведь и любят нас за то,
что мы

куда не след совались
и делали незнамо что.
Ведь и в безвременное время
всех грязных игр договорных
не вывелось в России племя
пересекателей штрафных!
Купель безвременья —

трясина.

Но это подвиг,
а не грех
прожить и честно,
и красиво
среди воругов
и неумех.
О радость —
вытянуть из схватки,
бросаясь, будто в полынью,
мяч,
обжигающий перчатки, —
как шаровую молнию!
Ах, Лев Иваныч,
Лев Иваныч, —
а вдруг,
задев седой вихор,
мяч,
и заманчив, и обманчив,
перелетит через забор?
Как друг Ваш старый,
друг Ваш битый,
прижмется мяч к щеке
небритой,
шепнет, что жили Вы не зря!
И у мячей бывают слезы.
На штангах расцветают розы
лишь для такого вратаря!

9 августа 1989 г.

ХАРЬКОВСКОЕ МОЛОКО

С. Цаневу

Соблюдаю я Харьков у верность,
где когда-то с балкона рука
с молоком протянула мне термос,
чтобы глотка осталась крепка.

Харьков стал мне одною из родин,
где родился я как депутат.
Я во многом был Харьковым зроблен,
как молочный приласканный брат.

На Сумской, лепеча еле слышно,
целовали меня неспроста,
как раздвинувшаяся вишня,
чьи-то маленькие уста.

Еще многое здесь приключится,
но, бродя по ночным мостовым,
я навек разминулся с Кульчицким
и с Миколою Хвелевым.

Вновь с балкона ныряющий в воздух,
термос плавает над головой
в желтых бабочках, в розовых розах
на веревочке бельевой.

Я за то молоко видпрацюю.
Щиро дякую, глубоко —
и за харьковские поцелуи,
и за харьковское молоко.

НОЧНОЙ МИТИНГ

В. Мещерякову

Митинг на Салтовке ночью
в таком бесфонарном дворе,
будто бы в черной
засасывающей дыре.

Там, где рука у милиции
нервно ползет
к незастегнутой кобуре,
словно уже надвигается
грозно ревущее:

“РЕ...”,

“...ВО...”

Мы пробудиться народ
призывали!

Во-во!

“...ЛЮ...”

Лезет народ на помост
в социальном хмелю.

“...ЦИЯ!..”.

Кто на помосте стоит
с микрофоном!

Це я...

Кто я —

из школы вытуренный
выжариватель вшей!

Или пошляк

с предвыборной
улыбочкой

до ушей!

По-честному — кто я таковский?

Вам бы, на ваш бы вкус —
жэковский Кашпировский,
ремстройконторный Иисус!

Я не бальзамщик на раны.

Не голосуйте “за”.

Я не сумею с экрана

вам закрывать глаза.

Стою, как на крае карниза,

Салтовка,

перед тобой

в ответе за мафию и за
с бюстгальтерами перебой.
Как мне во мгле не отчаяться,
где белые пятна лиц, —
лишь окна в зрачках качаются,
мерцая из-под ресниц!
Я вам обещаний на вертеле
шашлычником не подносил,
но люди так жаждут верить —
уже из последних сил.
Не я им нужен — Хоттабыч
и в Харькове,
и в НКАО.
Поверить в кого-то хотя бы —
лучше, чем в никого.
Но вдруг этот кто-то — из прочих, —
потенциальный мясник,
зачаточный фюрерочек,
генералиссимусик!
Помост еще чуть — и рухнет,
но лезут опять и опять
пожать заболевшую руку,
автограф добыть,
обнять.
Со звездочками глазенок,
светящихся в лунном луче,
качается пацаненок
на мощном отцовском плече.
И просит отец, как над бездной,
с застенчивостью мужской:
“Хочу, чтобы сын был честный...
Коснитесь его рукой...”
Я чуть от стыда не заплакал...
Ну что я вам —
идол,
шаман!
Неужто политика — плаха
или шаманский обман!
И, вздрогнув от этой мысли,
увидел я мгле вопреки:
с помоста почти что свисли
отцовские каблуки.

Я понял над бездной черной,
что если толпища поперет,
то рухнет он вместе с мальчонкой,
а косточки — кто соберет...
Вцепился я, став озверелым,
в мальчонку того и отца
и стал отжимать их всем телом от пропасти,
от конца...

Шаманство —
подделка народности.
Отжать бы хоть малость народ
от пропасти,

пропасти,
пропасти,
а косточки —
кто соберет...

“...РЕ...”
Салтовка,
я загорюсь
в бесфонарном дворе
хоть в любом фонаре.

“...ВО...”
Аж из Америки в Салтовку
я эмигрировал —
и ничего!

“...ЛЮ...”
Я вам одно обещаю,
что я обещать не люблю.

“...ЦИЯ!..”
Кто там за мылом последний!
Представьте себе,
це я.

1989

Сжался я весь от народного гласа,
будто бы съел я их масло и мясо
и о свою же башку без извилин
я по-злодейски все мыло измылил.

Мы избирателей не избираем.
Ад слишком долго становится раем.
Рая посмертного людям не надо.
Людям при жизни не хочется ада.

И наблюдают за нами старушки
с острыми ушками на макушке,
чтоб не пропали мы около власти,
в пропасти, будто в кошечей пасти.

1989

БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

“Дяденька, что это!”

“Вавилонская башня...”

“Дядь, она качается...”

Дяденька, страшно...”

Запорожец,

веселую саблю ткни,
стену пробуя от и до,
в дом — гнездо коммунизма
на Салтовке,
и развалится это гнездо.

Грязно-белые,

геттообразные,
вавилонские башни дики,
где смещались,

ругаясь,

разные

и трагедии,

и языки.

А зачем грызть друг дружку
трагедиям!

До какой остановки мы
в очумевшем трамвае доедем!

Неужели до Кольмы!

Языки потеряли свой общий язык.

Неужели наш общий язык —

это крик!

Что главней —

украинскость,

русскость!

Человечность главней.

Кончим спор.

Знаю:

самое страшное —

хрупкость

наших крыш,

наших стен,

опор.

Сикось-накось мы строили,

накливо.

Неужели все это зря!

Если что-то мы строили 'накрепко —

Только тюрьмы и лагеря.

Неужели,
 скрипя зловеще вся,
рухнет
 выстроенная напоказ
вавилонская башня,
 растрескивающаяся
от орущих,
 дерущихся нас!
Словно кухня коммунальная
вся страна,
 где мы все хороши.
В чьи-то чувства национальные
мы плевали,
 как будто в борщи.
Депутат вавилонской башни,
брат не каждому бунтарю,
как сдуревшей бабе —
 не барышне,
этой башне я так говорю:
“Плачь, дуреха,
 когда тебе плачется,
но в бессмысленной новой крови
ты за прошлые чьи-то палачества
малых деточек не раздави...”
Я стою посредине Харькова.
Никогда вроде не был я трус,
но от муки чуть кровью не харкаю,
так страшусь
 за Украину
 и Русь.
Ну зачем все мое депутатство,
если все-таки не пытаться
верить,
 будто бы в Божий лик,
в общий разноязыкий язык!!
Ну а Салтовка,
 Салтовка,
 Салтовка,
пожалев меня,
 будто мальчика,
грубым краем кухонного фартука
вытирает мне слезы с лица...

1989

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО

Подавляющее большинство,
пахнешь ты, как навозная роза,
и всегда подавляешь того,
кто высовывается из навоза.

Удивляющее меньшинство,
сколько раз тебя брали на вилы!
Подавляющее большинство,
скольких гениев ты раздавило!

В подавляющем большинстве
есть невинность преступная стада,
и козлы-пастухи во главе,
и тупое козлиное: “надо!”

Превеликое множество зла
подавляет добро, не высовываясь...
Счастлив я, что у слова “совесть”
нету множественного числа!

1989

СОРОК ДЕВЯТЫЙ

“Советский спорт“

еще был на Дзержинке,
и те же тополиные пушинки,
задевшие,

как будто в страшном сне,
клюв ястребиный Берии в пенсне,
садились на облупленный мой нос,
когда стихи

в “Советский спорт“ я нес.
Мой нос длиннющий был зазнайски
задран.
Куда?

В коммунистическое завтра.
Как папа Карло,

Сталин породил
из дров субботников —
подобных буратин.

Я жил почти невинно,
безмальвинно,
писал ужасно,

но зато лавинно.
И видел ли меня Лаврентий Берия
из своего зеркальнейшего “Зиса“,
когда рисково у Лубянки бегая,
в литературу носом я вонзился?
А если видел —

не важней окурка
для Берии была моя фигурка
в малокозырке,
в лыжных шароварах,
с блатнинкой глаз,
булыжных,
шаловатых.

И в потайном кармане шаровар
не вынюхал палач
мне наудачу
мой будущий крамольный “Бабий Яр“
с “Наследниками Сталина“ впридачу.
Что вытерпеть пришлось нам всем еще бы,
когда бы он
арестовал Хрущева,

Гибель всем
 нас рассекавшим стенам!
Эту стену,
 бросив ее в шок,
своим телом,
 словно автогеном,
первым Палах, может быть, прожег.
Безграничны личность и свобода.
Мир
 не уместается в ОВИР.
Мне — кусок стены!
 Я заработал
в шрамах пуль суровый сувенир.

1989

В КАЗЕМАТЕ

В кабаке петрозаводском
взгляд швейцара косоват.
Кабинет один зовется,
словно в прошлом: “каземат“.

В общем зале — мат на мате,
но за каменной стеной
притулились в каземате
я с тобой, да ты со мной.

Красоты твоей оправа,
словно всей России знак,
полицейская управа,
превращенная в кабак.

Мы с тобой в таком борделе
с явным запахом тюрьмы,
где не морды, а мордели,
где и мы с тобой — не мы.

Я любил, и ты любила.
Ты — иная, я — иной.
Все, что было, как отбило
ледоломною волной.

Твоя кожа так прозрачна,
что под нею видно, как
твои жилочки незряче
заблудились на висках.

Ты марксизм всю зубрила,
проходила диамат.
Окружали тебя рыла.
Это было — каземат.

Превратилась бы ты в розу,
так затравленно шепча
восхитительную прозу
Леонида Ильича?

Ты из тех, тюремных дочек,
с тонкошейей головой,
казематный мой цветочек,
блеклый и полуживой.

Я был тоже в каземате —
потому и не пуглив,
и меня вы не замайте,
если рос я слишком вкривь.

Я не лучший христианин,
но сквозь глыбы тех же рыл
я, как монте-христианин,
сам подкоп себе прорыл.

Я, влюбившись на закате,
не играю в игрока,
незадачливый искатель
целомудрия греха.

И, припав к тебе вихрами,
поредевшими в борьбе,
в каземате, словно в храме,
исповедуюсь тебе.

Ты — моя и божья мать
в облаках, и кабаках,
в этом пьяном каземате
с богом будущим в руках.

РАЗДВОЕНИЕ

На себя не совсем полагаюсь,
потому что себя я пугаюсь,
если, даже ключом не звеня,
кто-то чуждый влетает в меня.

Он,

владелец отмычек послушных,
постепенно становится мной,
как хозяином ставший послушник,
как врача залечивший больной.

Он — другой,

в меня ввинченный разум.

Он —

заряженное ружье
с пулей — мне.

Он моим же глазом
мне подмигивает
нехорошо.

Почему,

заразившись бедламом,
то пророчествуя,
то мельтеша,
то становится храмом,
то срамом
человеческая душа?

Почему

на лице ангелочка
из укромного уголочка,
как с гадюкой скрещенный зайчик,
вдруг
высовывается
негодяйчик?

Почему

сквозь уста мадонны,
где и трещинки даже —
медовы,
вдруг
раздвоенный,
розоватенький
вылезает
язык змееватенький?

РАЗГОВОР ТРЕХ КНИГ

И прошептала Библия Корану:

“Ты хочешь, —

я твоей сестрою стану?”

А ей в ответ прошелестел Коран:

“Прости меня за столько смертных
ран...”

Она вздохнула,

шевелив страницей:

“Я не виновна в пытках инквизиций,
и не виновен ты в резне кровавой.

Мы — книги.

Мы не ведаем расправой!

Но лезли в нас и пастыри, и власти
и привносили собственные страсти,
и все мы, христиане, мусульмане,
друг друга убивали, как в тумане...”

Вдруг, словно он от спячки оклемался,
раздался голос “Капитала” Маркса:

“Вам коммунизм, простите,

не достался.

Был призраком

и призраком остался.

К народу относясь, что к поголовью,
марксизм “вожди” переписали кровью.
В угоду всем портяночным тиранам
мною заменили

Библию с Кораном“.

И замерли три книги,

как на плахе,

над трупами в Баку

и в Карабахе.

Попытка подменить все веры Марксом
закончилась кровавым страшным фарсом.
Гяуров нет.

Все веры драгоценны,
как травы все по книгам Авиценны.
Чтобы сдержать убийц грядущих натиск,
религии всех стран, соединяйтесь!

И Магомет рыдает в Карабахе
над братом — над зарезанным Христом
в крестьянской окровавленной рубашке,
к спине прижатой каторжным крестом.

ДАЙ БОГ!

Дай Бог слепцам галаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай Бог быть богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай Бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.

Дай Бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьей шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.

Дай Бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай Бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.

Дай Бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай Бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.

Дай Бог лжецам замкнуть уста,
глас Божий слыша в детском крике.
Дай Бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском — так в женском лике.

Не крест — бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
дай Бог — ну хоть немного Бога.

Дай Бог всего, всего, всего,
и сразу всем — чтоб не обидно...
Дай Бог всего — но лишь того,
за что потом не станет стыдно.

НЕВОСПИТАННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ

Страна начинается с аэропорта

Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки. Страна начинается с аэропорта. Иногда — даже с борта самолета.

В прошлом году я возвращался на нашем самолете из Таиланда. Моим соседом был профсоюзный деятель — таец, выточенный из вежливости, как статуэтка из слоновой кости. Он первым делом стал искать наушники и переключатель звуковых программ, обычно помещаемый в подлокотники на всех авиалиниях мира, за исключением нашего Аэрофлота. В иностранных самолетах, как правило, бывает пять программ: симфоническая, оперная, джазовая, Кантри и рок, а при длительных рейсах — видеофильмы. Словом, уж если загнивать, так с музыкой...

Когда таец с жалобной вежливостью спросил стюардессу: “Где музыка?“, та гордо включила централизованную, как во всех наших поездах, радиосеть, и во всех салонах аэробуса во все динамики оглушительно грянуло: “Ну почему, почему, почему был светофор зеленый...“ Лишь после того, как индуска со спящим ребенком на руках взмолилась, “светофор“ вырубили. Заодно вырубили и свет — и тоже сразу во всех салонах. Сосед, который что-то трудолюбиво считал на мини-компьютере, напрасно пытался нашарить лампочку в потолке. “Индивидуальное освещение в проекте этого самолета не предусмотрено“, — с непонятной патриотической гордостью объяснила стюардесса. Таец выкрутился: достал из “дипломата“ мини-фонарик и направил его на клавиши компьютера.

Стоянка в аэропорту Дели была, как визит на красочную ярмарку. Несмотря на полуночное время, сувенирная галерея была открыта, и радушные, но и не слишком приставучие продавцы зазывали в свои магазинчики. Чего только здесь не было — и деревянные, и бронзовые Будды, и материи, похожие на крылья жар-птицы, и видеомангитофоны, и сортов пятьдесят индийского чая...

Когда через несколько часов мы приземлились в Ташкенте, картина в аэропорту была иная. Там было закрыто все, что должно быть открыто. Вхождение в зону закрытости мы почувствовали еще в воздухе — стоило только пересечь границу. Была ночь, но сквозь сине-серебряное марево внизу, как чье-то рассыпавшееся оже-

релье, мерцали редкие огни кишлаков. Мой таец, несмотря на привычки бизнесмена, видимо, человек с чувством красоты, немедленно вытащил из футляра свою “Минолту”, чтобы сфотографировать фосфоресцирующее чудо ночи. Но бдительная рука стюардессы перекрыла объектив. “Съемки над территорией Советского Союза запрещены”, — сказала она жестко и беспрекословно. Таец торопливо стал запихивать “Минолту” в футляр. А ведь фотографировать с борта смешотворно, ибо давным-давно даже номера автомашин можно разглядеть в особую оптику со спутников. Все старание бюрократии “втереть очки” иностранцам бессмысленно, ибо их с первого шага в нашей стране устрашают туполобым запретительством, отвращают низким уровнем отношения к человеку. Мой сосед затравленно съезжился, когда пограничник, встречавший нас на трапе в транзитном ташкентском порту, так мрачно, просверливающе взглянул на гостя, как будто у него под зубной пломбой был спрятан секретный план оросительной системы Узбекистана. Пассажиры, испуганно прижавшись друг к другу, двигались в чрево ташкентского аэропорта по так называемой лестнице-чудеснице, которая скрежетала зубами, как старая ведьма. Всюду были груды мусора. Тайцы, которым с детства вбивали в голову, что советские люди — это роботы, напичканные пропагандой и пичкающие ею других, вжав головы в плечи, шли мимо одинаковых плакатов с Лениным, которых я насчитал двадцать штук. На ободранных стенах также были развешаны самопрославительные рекламы Аэрофлота: “Советская авиация несет на своих крыльях мир и дружбу, способствует развитию политических, экономических и культурных связей государств с различным социальным строем...” Ресторан и бар были закрыты. Никакого сувенирного киоска не было. На стендах была выставлена сплошная примитивная пропагандистская литература, при виде которой тайцы еще больше по-черепашьи втянули головы в плечи. Выставка блеклых фотографий: “Привилегированный класс советского общества” с тошнотворной неубедительностью пытался показать аристократическую жизнь советского пролетариата.

Мой таец, сходя в туалет, робко шепнул мне: “Мне кажется, следует сообщить администрации, что туалетная бумага кончилась...” Наивный таец — она там и не начиналась. Когда я сказал об этом сонной уборщице, та

неопределенно хмыкнула, исчезла, а вскоре прошествовала в туалет с охапкой мятых газет, полных призывов к перестройке. Наконец появилась такая же сонная официантка, толкая перед собой столик на колесиках со стаканами, до половины полными какой-то подозрительной жидкостью чайного цвета. На вопрос: “Что это?” — она ответила кратко, хотя и загадочно: “Напиток“. Дети “третьего мира“ почти не притронулись к этому напитку — в их так называемой “отсталой стране“ подавать напитки в открытом виде считается элементарно негигиеничным, точно так же как и в их отсталой стране я никогда не видел в уборных газет вместо туалетной бумаги. Когда мы снова шли к самолету, мой таец, считая себя уже достаточно проверенным, пытался пройти сквозь контроль вместе со своим “дипломатом“. Но не тут-то было. Мощные ручки представительницы Аэрофлота, больше похожей на переодетого женщиной кабацкого вышибалу, грубо вырвали у него “дипломат“ для досмотра. Когда таец что-то попробовал объяснить по-английски, его так же грубо толкнули в спину: “Проходи, проходи в накопитель... Лопочут невесть чего — пойдн их пойми... Выучили бы сперва наш язык, а потом бы уж к нам и ехали...“ Мой таец смертельно перепугался, что у него отнимут “дипломат“, а когда отдали — уже совсем по-нашему, по-советски, с благодарной униженной затырканностью обрадовался. Представительнице Аэрофлота даже в голову не пришло, что, работая в международном аэропорту, это она должна была выучить хотя бы один иностранный язык. Не пришло ей в голову, что “накопитель“ — это слово из лагерного лексикона... А вы не задумывались о том, сколько лагерного в нашей ежедневной “вольной“ жизни — всевозможных накопителей, отстойников, очередей то за тем, то за этим, как за лагерной баландой, насильственных сгоняний в кучу, унижительных “шмонов“ — физических и духовных, “паханства“ и “шестерничества“, видимых и невидимых колючих проволок... Когда я укоризненно сказал представительнице Аэрофлота: “Почему вы себя так грубо ведете?“, она возмущенно вспылила: “То есть как это грубо? А я что — на брюхе перед ними должна ползать?“

Есть категория людей, которые вежливость считают унижением, а грубость — сохранением личного достоинства. Такое у них воспитание — невоспитанное воспитание.

Поэтому даже в глазах гостей из “слаборазвитых стран” мы выглядим, как страна слаборазвитой вежливости. Но, может быть, то, что случилось в ташкентском аэропорту, не могло случиться в столичном? Вот Шереметьево-2 — главные воздушные ворота страны. Не бросалось ли вам в глаза, что в фойе не на что присесть? Вероятнее всего, потому, чтобы на скамьях не спали, как где-нибудь на Казанском вокзале, не портили бы светлого впечатления от СССР. Но ведь спят. Прямо на мраморном полу. Впывалку, в случае нелетной погоды. Нелетная погода не есть чисто советское явление. Но спят на полу почему-то только у нас. Гостиничных мест при аэропорте в несколько раз меньше, чем нужно. “Ничего, перебьются...” — говорят здесь со злорадной усмешкой про иностранцев. Но иностранцам перебиваться приходится лишь временно, а вот мы перебиваемся всю жизнь. А кто нам такую жизнь устроил — иностранцы, что ли? Мы сами. Наша грубость к иностранцам происходит от грубости друг к другу. Эта грубость разоблачительно прет, начиная с аэропорта.

Самолет приземляется в Шереметьево. Трапа приходится ждать иногда по полчаса. Когда трап появляется, приходится ждать автобуса. На трапе — обязательный пограничник, двойник того самого, который так напугал моего тайца в Ташкенте. Этот пограничник никого и ничего не проверяет — он с бессмысленной бдительностью вглядывается в лица. Затем перед нами несколько застекленных будок, где сидят пограничники, проверяющие паспорта. Обычно большинство будок пусто, и пассажиры скапливаются у одной или двух, немедленно создавая очереди. Молоденькие пограничники в будках, может быть совсем неплохие парни, напускают на себя угрюмую недоброжелательность, иногда требуют, чтобы пассажиры сняли шапки, неизвестно почему задают вопросы, на которые уже отвечено во въездных анкетах. Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь из этих стражей государственных границ сказал: “Добро пожаловать!”, “С возвращением!” или хотя бы по-человечески улыбнулся. Запрещают это им, что ли? А ведь лицо пограничника — это тоже лицо страны.

Пограничник нехотя возвращает вам паспорт, и вы входите в зал выдачи багажа. Спокойно присаживаетесь на неподвижный конвейер — вам придется подождать как минимум час. Когда наконец конвейер начнет двигаться,

не обращайтесь внимания на табло — бангкокские чемоданы могут оказаться на ленте монреальского рейса, или наоборот. Носильщиков раз в десять меньше, чем нужно. Значит, должны быть тележки? Слишком многого вы захотели от Аэрофлота, занятого тем, что на своих крыльях он несет мир и дружбу. Я однажды чуть со стыда не сгорел, видя, как делегация канадских старушек, надрываясь, волокла чемоданы. Слава богу, рядом оказались наши моряки, возвращавшиеся из Сингапура, — мы вместе помогли бабушкам. Во всех цивилизованных аэропортах два выхода — для тех, кому есть что декларировать, и для тех, кто считает, что ему декларировать нечего. Профессионализм таможенников и заключается в том, что багаж они проверяют лишь выборочно, полагаясь на информацию или интуицию. У нас таможенники проверяют почти всех чохом, за исключением членов делегаций, да и то не всегда. В результате иностранцы уже в аэропорту проходят первичную адаптацию к лицемерию наших отечественных очередей, а возвращающиеся советские граждане проходят разадаптацию от отсутствия оных в капстранах. Таможенные правила поражают своей нелогичностью, придиричливой мелочностью, а иногда и просто глупостью. Для завершения перевода на английский моей поэмы “Фуку” ко мне на неделю прилетела переводчица из США — Нина Буис. Таможенники изъяли у нее перевод, сказав, что для проверки (!) им нужна неделя. Но через неделю моя переводчица уже улетала. Кафкианская ситуация! И это случилось уже не в годы застоя, а сейчас, во время перестройки. Совсем недавно у моего соседа — финна — в поезде Москва-Хельсинки таможенники конфисковали журнал “Тайм”, в самом благожелательном духе посвященный Горбачеву. Во всех экономически разумных государствах налог платят только за ввоз того, что можно купить в стране, куда вы въезжаете, чтобы не подрывать коммерцию. У нас все наоборот — вы платите налог за то, чего у нас нет. На первый взгляд это борьба со спекуляцией. На самом деле это игра на повышение цен спекуляции. Почему существует налог на видео- и аудиокассеты, которых днем с огнем не найдешь в наших магазинах? Почему есть налог на ввоз компьютеров, если глава государства призывает к компьютеризации, а собственные компьютеры ни к чему не годятся? Почему запрещено ввозить “ксероксы” для лично-

го пользования“. Это сохранившийся со времен застоя животный страх перед “нелегальщиной“. Между тем личный “ксерокс“ ускоряет работу любого писателя, журналиста, ученого чуть ли не втрое. Таможенный кондуит, который однажды мне еле-еле удалось заполучить в руки после настоятельных требований, — это филькина грамота, где рукой то вписывают, то вычеркивают разные начальственные “бзики“, в чем сами таможенники зачастую не повинны. Еще года два назад я видел оскорбленно плакавшую в аэропорту знаменитую актрису, летевшую на международный кинофестиваль. У нее чуть ли не из ушей выдрали серьги — не положено. Сейчас драконовский запрет на вывоз личных украшений отменили, но кто знает, какие новые унижения выдумают завтра?

Пребывание пассажира в аэропорту Шереметьево длится часа три с половиной после прилета — примерно столько же, сколько полет Лондон-Москва. Три с половиной часа унижения тянучкой, неразберихой. Последний раз я увидел моего тайца, кое-как впихивающего перерывные чьими-то руками рубашки, носки обратно в чемодан. В глазах у него была печаль покорности и нечто новое — привычка унижению...

От царизма — до церберизма

При всех неприятностях иностранец у нас лицо привилегированное. Забавно и горько, что этой привилегированностью объединены две категории: депутаты и иностранцы, как будто все депутаты — иностранцы, а все иностранцы — депутаты. Иначе чем объяснить отдельные комнаты отдыха, отдельные билетные кассы, отдельные буфеты в аэропортах для депутатов и иностранцев? Но советские депутатские привилегии кончаются перед мордой валютного вышибалы, монументально застывшего перед дверью, за которой наш “рупь“ уже недействителен. Наш рубль можно принимать в общество “Память“, ибо он настолько ультрапатриот, что врагам не продается. Ядовито-насмешлив парадокс, когда на пришвартованном теплоходе, носящем имя великого русского поэта “Александр Блок“, — валютный ресторан, куда русские люди с их рублями не допускаются. Впрочем, шоколадный набор “Сказки Пушкина“ уже тоже давным-давно продается только в магазине “Березка“. А можно ли представить

надпись на дверях французского ресторана “Обслуживание иностранных делегаций”? Или — американский магазин “Секвойя”, где все продают только на рубли, а не на доллары? Отношение к иностранцам у нас издавна состоит из двух крайностей: из шпиономании и из валюто-мании... Недавно мне позвонила моя соседка, народная артистка СССР, и срывающимся от волнения голосом сообщила, что всех нас, жильцов дома 2/1 по Кутузовскому проспекту, собираются выселить из квартир, потому что их решили продать за валюту под представительства иностранных фирм. Представьте мемориальную доску в честь гениального исполнителя главной роли во всемирно прославленном фильме “Чапаев” рядом с вывеской какой-нибудь прохиндейской фирмюшки “Кукишсмаслом импорт”! По легенде, один из французских королей никак не мог выселить собственного булочника. После решительного протеста жильцов Моссовет вынужден был пойти на попятный, но разве не унижительна была сама идея выселения во имя валютной наживы соотечественников, которые все стерпят!

Почему вместе с призывами к правовому государству нас то и дело унижают, преподавая нам на нашей собственной шкуре издевательские уроки бесправности?

Социализм у нас начали строить по схеме крепостничества. Насильственная коллективизация — экономическая троекуровщина. Надругательство над лучшими умами России — троекуровщина идеологическая. Крепостничество породило надсмотрщицкий слой — церберов. Цепи царизма распались, но, к сожалению, вместе с цепями, на которых сидели церберы. Стать цербером — заманчивая перспектива для любого, самого беспороднейшего пса, который согласен за кость, кинутую ему, кусать любого, на кого науськивают, а если надо — и придушить. Церберы дореволюционной формации управлялись крепостниками. Церберы новой формации управлялись лишь страхом друг друга при пирамидальной структуре церберской иерархии. Не только Берия был сталинским цербером, но и Сталин был цербером, зависевшим от других церберов. При церберизме, состоявшем из выбившихся дворняг, медали давали именно за беспородность. Времена кровавого церберизма прошли. Но церберы оказались живучими. Беспородность не вымирает. Беспородность переходит в

беспородность. Не случайно “Бесы” Достоевского становятся все более и более актуальной книгой.

Иммунитет от церберизма — это воспитание нравственностью, культурой. Но церберы, как псы-людоеды, пожирали именно носителей нравственности и культуры, как иммуноносителей. Невоспитанность нашего воспитания — это питательная среда для церберизма. Мы все страдаем от ежедневного взаимного лая, ежедневных бытовых взаимоукусуов. Существует ли хотя бы один советский гражданин, ни разу не цапнутый ни одним цербером?

Дежурные на этажах в наших гостиницах — метафора цербероидного общества. Много лет назад я был свидетелем того, как во время гастролей Рихтера в Иркутске его личные вещи выбросили из “люкса”. “Какой там “Рихлер”! — бушевал безграмотный директор гостиницы. — Начальник “Братскгэсстроя” Наймушин приезжает!” Нодара Думбадзе не пустили ночевать в гостиницу “Москва”, когда он забыл перевинтить депутатский значок с одного пиджака на другой. В наших гостиницах царит напряженная атмосфера лагерной зоны, где у дверей стоят церберы с золотыми галунами и с вертухайским прошлым. Однажды, придя с одним бывшим лагерником в московский “Националь”, я стал ошеломленным свидетелем его почти теплой встречи с бывшим майором-охранником, ныне перешедшим в более высокооплачиваемый ранг — ресторанного гардеробщика. Непримируемое “непущательство” этих ландскнехтов Интуриста на самом деле липа, ибо все рестораны и бары набиты проститутками, фарцовщиками, торговой мафией. Привилегия “непущательства” одновременно превращается в весьма доходную привилегию выборочного “пущательства”. Самая процветающая в нашей стране республика — это страна швейцаров — наша советская Швейцария.

Как швейцары наших государственных границ, ведут себя некоторые работники ОВИРа, изображая из себя таинственную неприступность, под которой порой скрывается стремление хапнуть взятку за смягчение патриотической бдительности. А разве не так же себя ведут идеологические непущатели, по-церберски бдя, чтобы не просочились “не те” люди, книги, идеи, изобретения? Внешне это политическое охранительство выглядит, как пуританский фанатизм, но за дверьми, охраняемыми плечами этих идеологических вышибал, такой же бардак, как в интуристовских отелях.

Существует кадровый церберизм. Иногда он носит национальный характер, прикрываемый болтовней об интернационализме. Году в шестьдесят третьем считавшийся прогрессивным редактор одного журнала, интернационалист-профессионал, так ответил на мою просьбу взять в штат выпускницу Литинститута — еврейку: “Старик, нас и без того заели эти гужееды-антисемиты... Пойми, у нас в редакции превышена процентовка...” “Какая процентовка? — изумился я. — Разве есть инструкция о процентном количестве евреев?” — “Такой инструкции, конечно, нет, но... Но все-таки она есть...” — “А где же она написана?” — “В воздухе, старичок, в воздухе...”, — торопливо сказал редактор, спеша на заседание Советского комитета защиты мира.

Главный принцип кадрового церберизма — в непущательстве так называемых “неуправляемых людей” и в выборочном пуцательстве “управляемых”: — то есть послушно извивающихся вместе с генеральной линией. Именно эти “управляемые” и доуправляли нашу страну почти до пропасти — нравственной и экономической. Церберская паника охватила сейчас некоторые райкомы, райисполкомы, избиркомы при выдвижении “неуправляемых” кандидатов. Церберы и не подумали залаять — хотя бы для приличия — на черносотенные выходки, оскорбляющие кандидатов. Но зато они проявили свою церберскую бдительность в сдирании объявлений о встречах с кандидатами, в выбивании залов проинструктированными выборщиками, в сомнительном подсчете голосов, в непущательстве на выборы представителей прессы и общественности. Церберизированная демократия — это церберократия.

Но было бы нечестно приписывать церберизм только бюрократам, самих себя выставляя в сентиментальном образе сенбернаров-спасателей. В наших семьях, магазинах, на улицах все время слышатся церберское рычание друг на друга, церберский лязг зубов. Все мы искусаны друг другом.

Недавно, опаздывая на выступление, я безнадежно “голосовал” на улице Академика Опарина, у Центра по охране здоровья матери и ребенка, где навещал жену. Мимо промчались, может быть, штук с полсотни машин, но ни одна даже не замедлила ход. Я встал посреди улицы и сложил руки крест-накрест над головой — знак “SOS”. Но машины, теперь уже залезая колесами на

тротуар, продолжали объезжать меня. А ведь я стоял напротив больницы — со мной могло случиться нечто пострашней, чем опоздание на выступление. Но в ответ на взывающие о помощи руки — только грязь из-под колес по лицу. И вдруг я подумал: а разве я сам, будучи за рулем, всегда останавливался, видя чью-то вскинутую руку?

Не я ли сам, в другом обличье, во множественном числе сидел за рулями автомашин, обдающих грязью мое собственное лицо?

Откуда берутся циники?

Церберизм — это продукт нашей нравственной невоспитанности. Нравственно воспитанное общество не позволило бы, чтобы церберы, чье место на цепи, сами сажали людей на цепь. А воспитание-то у нас невоспитанное. Главная задача децерберизации нашего общества — это воспитание самого воспитания. Педагогика нравственности должна начинаться с воспитания воспитателей.

Чему может научить учитель, если он сам живет не по тем нравственным законам, которые преподает ученикам? Преподавание нравственности безнравственными людьми — это превращение образования в фабрику, штампующую цеников. Нечего потом всплескивать руками и возмущенно негодовать — откуда берутся циники? Из нашего с вами лона. Никаким “растлевающим западным влиянием” нельзя оправдать массовый цинизм, перед лицом которого мы оказались и ужаснулись: а не наше ли это с вами лицо, генетически повторенное в лицах наших детей?

Существует шлюшная педагогика безнравственности, когда уже растленные учителя изо всех сил стараются завербовать на поприще духовного разврата еще чистые души, превращая их в новорастленные, а затем производят из наиболее “талантливых” учеников будущих учителей-растлителей. Педагогика безнравственности чаще всего хочет казаться единственной нравственностью. Разве не педагогика безнравственности — концепция человека как винтика государственной машины, вбивание в голову нерассуждающего казарменного “надо”, теория приоритета классовой борьбы над общечеловеческими ценностями? Мы упростили бы сложность проблемы, если бы педаго-

гика безнравственности происходила от злонамеренности педагогов. Но многими из них двигала преступная “святая простота”, преподающая школьникам искусство подбрасывания хвороста в костры еретиков. Поспешная канонизация бывших еретиков как святых и превращение бывших святых в злых колдунов привели многих юных к цинизму. Но не будем спешливы и возымеем мудрость отделять цинизм от самозащитительного подросткового скепсиса. Под таким скепсисом иногда прячется жажда высоких идеалов, смешанная со страхом обмануться в этих идеалах, попасться на приманку предательски зазывных обещаний. Разве мы, столько раз обманутые бывшие дети, не обманывали своих детей обещаниями “догнать и перегнать”, “жить при коммунизме” и так далее? Разве мы не провожали их оркестровыми благословениями на так называемые великие стройки, где наши дети обдирали на морозе кожу с ладоней, укладывая разрекламированные нами “рельсы будущего”, которые первым же летом проваливались в раскисшую, далеко не вечную, как оказалось, мерзлоту? Разве не мы, скомпрометировав преподавание истории, подхалимски перемещали центр, где выковывалась Победа в Великой Отечественной, из сталинского кабинета в точки пребывания на фронте Хрущева, а потом на Малую землю? Разве не мы в неблагоприятной суетности вырезали Хрущева из исторических кинокадров, где он был снят вместе с вернувшимся из космоса Гагариным? Разве не мы, печатая юбилейные статьи об уничтоженных Сталиным выдающихся деятелях революции, доходили в своем ханжестве до того, что иногда даже не приводили даты их гибели — 1937 год, ибо по такой дате наши дети могли все-таки догадаться, что эти люди не умерли в своей постели? Разве не мы, заботясь о будущем наших детей, а на самом деле его разрушая, учили их держать язык за зубами, не болтать ничего лишнего? А ведь это “лишнее” и была “по-отечески” удушаемая нами из самых лучших побуждений гласность. Разве не мы отправляли наших детей в Афганистан, трусливо пряча нашу родительскую боль, не превращая ее в общественное мнение, которое могло бы спасти наших детей? Разве не мы на глазах у наших детей подменяли вечные идеалы блудливо угождающей очередному клиенту идеологией, спешно модифицируемой по его вкусу? Разве еще совсем недавно наши

дети не давились смехом перед телевизорами, глядя на еле ворочающего челюстью дедушку-самонагражденца? И разве не мы заставляли наших отсмеявшихся вечером детей на следующее утро писать сочинения на тему награжденных Ленинской премией дедушкиных антинаучно-фантастических мемуаров, сфабрикованных высокопоставленными литературными неграми?

Мы сами — это те папы Карло, которые выстругивали из поленьев не маленьких-удаленьких Буратино, а циников. Нечего пенять только на то, что учебники, по которым мы учили, были плохи.

Учитель, даже трагически лишенный учебников современной истории, сам может быть таким живым учебником для своих учеников. Прекрасно, если правдивым, страшновато, если ложным.

Национальный такт — первый признак интеллигентности

Сто с лишним лет назад Толстой заметил в одном из писем: “Я увлекаюсь все больше и больше изданием книг для образования русских людей. Я избегаю слова “для народа“, потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления: народа и ненарода“.

Как видим, величайший русский интеллигент проявил национальный такт, общественную застенчивость, не считая себя вправе монополизировать патриотизм. Поучиться бы национальному такту у Толстого некоторым членам общества “Память“ и их литературным вдохновителям! Национальное деление на “народ“ и “ненарод“ не менее бестактно, чем социальное. Надо прививать национальный такт еще в школе. Вопиющие случаи преподавания национального языка в школе — это оскорбление национального достоинства. Заодно скажу, что бездарное преподавание русского языка — это тоже его уничтожение. Уважение к родному языку — часть национального достоинства.

Но не менее важно, чем личное и национальное достоинство, — достоинство интернациональное. Человек, превозносящий только свой народ, но при этом унижающий другой народ, даже не замечает, что этим роняет и свое личное, и национальное достоинство. Национальное высокомерие оборачивается на деле унижением собствен-

ной нации, а не чужой. Национальная закомплексованность — это обидчивость раба. Великодержавный шовинизм и вместе с тем узкоэгоистические национализмы, перечеркивающие гигантский позитивный вклад русского народа в мировую историю, одинаково относятся к низкой общественной культуре. Мы должны спасать чистоту наших языков, красоту наших национальных культур, неповторимость природы наших родных мест, особенности наших обычаев и верований не порознь, не отчуждаясь, не взаимопротивопоставляясь, а вместе. Нет народа, который фатально обречен быть врагом другому народу на всю историю, даже если между ними когда-то проливалась кровь. Враги у всех народов одинаковы: это войны, стихийные бедствия, тяжести ежедневной жизни, взаимонедоверие, несвобода, бюрократия. Неужели мало таких общих врагов, чтобы делать врагов друг из друга?

Порой невольным разжигательством страстей служит даже не ненависть, а элементарное отсутствие национального такта. На Днях советской литературы в Абхазии, в старинном селе Члоу, один прозаик, да еще и редактор комсомольского журнала, взял да и брякнул: “Смотрите, сколько знаменитых писателей со всего Советского Союза понаехало в наше крошечное абхазское село. Я недавно был в США — разве мыслимо там представить, чтобы американские писатели приехали в таком же представительном составе в резервацию к вымирающим индейцам?”

Нехватка национального такта чуть не привела к неприятному конфликту, если бы не врожденный такт абхазских стариков, над сердцами которых вздрогнули серебряные газыри.

Национальное достоинство — в соблюдении национального такта. А может быть, национальный такт и есть первый признак интеллигентности?

Антиинтеллигентность — это антинародность

Стыдно было видеть на нынешних предвыборных собраниях и вокруг них охотнорядские крикливые попытки противопоставить народ интеллигенции.

Наша интеллигенция — многострадальное дитя нашего народа. Наша интеллигенция — защитница народа.

Журнал “Новый мир”, возглавлявшийся народным интеллигентом Александром Твардовским, защищал интересы обманутого, попранного российского крестьянства гораздо больше, чем увешанные медалями бессловесные передовики полей, заседавшие в Верховном Совете и послушно голосовавшие за все, что им предлагалось с трибуны.

Натравливание народа на интеллигенцию — это натравливание народа на его защитников. Антиинтеллигентность — это антинародность. Воинствующая антиинтеллигентность сначала в лице старорежимного Победоносцева с его совиными крыльями, пересыпанными нафталином, а затем в лице новорежимных победоносиковых, надевших палаческие фартуки мясников, обрызганные чужой кровью, отнюдь не стеснялась делить нацию по своему вкусу на народ и на ненарод. После штучного отлучения от церкви Льва Толстого антиинтеллигентность перешла к массовому отлучению от народа таких выдающихся интеллигентов, как Вавилов, Чайанов, Платонов, Булгаков, Табидзе, Чаренц, Мандельштам, Ахматова, Шостакович, Пастернак и многие другие.

Самое страшное, что в это отлучение была невольно вовлечена и школа. Из воспитательницы интеллигенции ее невольно пытались сделать сообщницей по уничтожению интеллигенции, которое шло вместе с уничтожением талантливейших крестьян, рабочих, красных командиров. Наши университеты и институты сталинская система пыталась превратить из колыбели гражданственности в инкубатор церберизма. Но, к счастью, это удалось не до конца.

Отечественному образованию был нанесен страшный урон — и физический, ибо в тюрьмах и лагерях погибло множество прекрасных преподавателей; и моральный, поскольку оставшиеся в живых преподаватели были обречены на раздвоенность души между кровавой реальностью и системой преподавания. Практически это было преподавание в лагере.

Однако, несмотря на эти нечеловеческие условия, Карбышевы нашего образования, живьем замурованные в лед инструкцией, все-таки продолжали совершать подвиг воспитания в человеке — человеческого. Земной поклон таким учителям за то, что они воспитали в школах будущих спасителей человечества от фашизма, за то, что в кровавые или просто подлые времена не дали погибнуть надеждам на самоспасение нации — на гласность и демократию.

Но рядом с подвижнической педагогикой нравственности и в нашей школе, и в прессе еще живы тенденции педагогики безнравственности, пытающейся морально дезориентировать наше общество.

Так, например, в восьмом номере “Молодой гвардии” за 1988 год проскальзывает такой циничный пассаж: “...пусть скажут, когда творчество Мандельштама играло значительную роль в литературном процессе? Когда оно доходило до широкой массы народа, отражало его глубинные интересы и чаяния?”

Эта риторическая фигура неожидановщины безнравственна потому, что поэзия Мандельштама, замученного в лагерях, была долгое время запрещена и физически не могла “доходить до широкой массы народа”.

В двенадцатом номере журнала “Москва” другой критик так же походя оскорбляет другого классика нашей поэзии: “Определенная часть критики, понимая, что для оживления поэтического авангарда нужен авторитетный предтеча, усиленно “накачивает” фигуру Пастернака...” Разве это не педагогика безнравственности, не антиинтеллигентность, когда снова ничтоже сумняшеся оскорбляют уже не раз незаслуженно оскорбленного великого поэта? Агрессивная антиинтеллигентность чаще всего исходит от недоинтеллигентов.

Не надо прикрывать антиинтеллигентность знаменем с Георгием Победоносцем, направившим пику на змия. На знаменах антиинтеллигентности, похожих на совиные крылья, на самом деле не Георгий Победоносец, а Победоносцев.

Стыд — это двигатель прогресса

Учитель — это тоже писатель, который пишет не книги, а живых людей. Лгущий учитель превращается в массового производителя будущих лжецов. Плохих детей, как и плохие книги, нельзя выпускать слишком большим тиражом. Выпуск хороших людей и хороших книг слишком малым тиражом опасен для нравственного генофонда. Все дефициты антигуманистичны и поэтому неоправдаемы. Но один из самых антигуманистических дефицитов — книжный.

Предположим, я алкаш. Пил, что называется, по-черному, но теперь, так сказать, “в свете решений” желаю просветиться. Имею настроение приобщиться к мировой,

коза ее задери, культуре. К Монтеню, извините за выражение, меня волокет. К Ларошфуко меня неизвестно что прощандоривает. Но в книжном магазине девчата меня на смех поднимают. Одна снизошла и говорит: “Тут был один книголюб из Анадыря — так он мне за Тейяр Шардена соболью шкурку выложил. Так что, дядя Красный Нос, сделаю я тебе Монтеня, ежели ты мне итальянские сапоги сделаешь...” А как я ей сделаю итальянские сапоги, если я, во-первых, не итальянец, а во-вторых, не сапожник? Ну как пробиться к мировой культуре советскому простому алкоголику?

Это, конечно, шутка, но рожденная смехом сквозь слезы. Между человеком, который был воспитан на “Вечном зове”, и человеком, который воспитан на “Котловане”, уже будет нравственная пропасть. “Мы” Замятина, “1984” Оруэлла — это учебники антитоталитаризма. “Один день Ивана Денисовича”, “Жизнь и судьба”, “Колымские рассказы”, “Крутой маршрут” — это учебники истории. Но до сих пор эти книги трудно достать. Книжный дефицит сегодня — это сердцекастрация будущего. Нравственные двоечники — это прогульщики великих книг.

Есть псевдолиберальная идея о том, что школьников даже с несколькими двойками все-таки нужно переводить в следующий класс. Но не разыгрывается ли это экспериментаторство на взрослых номенклатурных дядях, когда они, заслуживая двойки по идеологии, тем не менее переводятся, как в следующий класс, на пожаротушение, или наоборот — с пожаротушения на идеологию. Номенклатурные ящички, куда своими остренькими зубками время от времени ныряет кадровая морская свинка, переполнена застарелыми двоечниками, которые никогда не читали и никогда не прочтут “Братьев Карамазовых”.

Борьбу с этой двоечной номенклатурой надо начинать еще со школы, ибо уже там зарождаются эмбриональные тираны, которые могут, если дать им вырасти, задушить еще не окрепшую гласность и демократию своими окрепшими ручонками.

Для того чтобы воспитывать новое поколение в понимании гласности не как временного дара сверху, а как воздух, необходимый для естественного развития личности, учитель сам должен быть личностью, т.е. человеком со своим лицом, а не с лицом, каждая черточка которого утверждена Наробразом. Для Учителей, как и для народных судей, не

должно быть никакой указки сверху, кроме самой высшей указки,— народных интересов и собственной совести.

Никто не принес столько вреда марксизму, сколько его бездарные вдалбливатели. В школах и вузах надо читать не кастрированную, а полную мировую философию, включая историю религий. Ни в коем случае в технических вузах нельзя изымать курс литературы, искусства. Иначе не будет гармонично развитой интеллигенции. Надо удвоить часы по иностранным языкам и не переводить с плохим знанием языков ни из класса в класс, ни с курса на курс. В современном мире человек, не владеющий хотя бы одним иностранным языком, как ключиком к остальному миру, не имеет права считать себя полноценным. Надо снять все барьеры для обменных поездок наших учителей, школьников, студентов за границу. Новое мышление невозможно без мышления глобального. Соединение трех достоинств — личного, национального, интернационального — и есть триединое достоинство человека.

Надо учить детей, которые лично не виноваты в ошибках и преступлениях прошлого, мужеству принятия на плечи исторической вины. Если они не почувствуют исторического стыда, то, став взрослыми, могут повторить уже совершенные в прошлом ошибки и, не дай бог, преступления. Комфортабельное избегание ответственности за прошлое переходит в избегание ответственности за настоящее и будущее. Это тоже невоспитанность воспитания. Какое в стране воспитание — такой и народ.

С ЖЕНЩИН НАЧИНАЕТСЯ НАРОД

Первый образ народа, человечества — это еще расплывающееся материнское лицо, склонившееся над младенческим тельцем. Ребенок вытолкнут в мир из женского тела, и причина его первого плача в том, что ему хочется обратно — в маму. Мать — это первая родина ребенка. Поэтому так естественно слияние двух понятий в одно — Родина-мать. Знаменитый плакат “Родина-мать зовет!” действовал во время Великой Отечественной не только политически, но и лирически, ибо задевал самые потаенные струны души. С женщин начинается народ.

Пастернак сказал о женщинах: “...перед ними я все-таки в долгу“. Этот неоплаченный долг каждого из нас начинается с первой капли материнского молока, с первых слез, причиненных нами первой обиженной женщине — матери, с первого поцелуя, с молитвенного прикосновения ладони жены к твоему лбу, когда она пробует во время болезни, есть ли у тебя жар. В момент опасности для мужчины его любимая становится его матерью. В женщине вообще настолько сильно чувство защиты мужчины, что они гораздо смелее, чем мужчины.

Одно из моих первых воспоминаний: 1937 год. Мне четыре года. Обоих дедушек забрали. Я и мама с узелком в руках — передачей — стоим в длинной-длинной очереди на улице с красивым названием Матросская Тишина. Полуснег, полуморось. Сизый туман, а в нем — затылок в затылок — женщины, женщины, женщины. Все с узелками. Только женщины. Ни одного мужчины. Мужчины боялись. Женщины не боялись узнавать, относить передачи. Все они — даже жены, и невесты, и дочери — стали матерями для арестованных...

Революция объявила раскрепощение женщин. Но разве, когда отобрали паспорта у колхозников, эти паспорта оставили колхозницам? Мухина была замечательно талантливым скульптором, но когда я смотрю на металлическую гигантскую пару — рабочий и колхозница, то меня гнетет мысль о том, что у этой монументальной великанши не было и крохотного паспортчика. В деревне произошло закрепощение женщин новым помещиком — государством, на заводах — новым фабрикантом — государством. Закон “кто не работает, тот не ест“ как бы подра-

зумевал, что и женщина, если она не работает, тоже не должна есть. Нигде не было записано, что материнство — это тоже работа. Женщины-домохозяйки, матери семейств почти исчезли, выглядели белыми воронами, чуждым классовым элементом. Даже поэты уже воспевали не хрупкость, не беззащитность, не любовную страсть, не влюбленную нежность женщин, а женскую физическую силу, политическую зрелость, трудовые показатели, героизм в преодолении трудностей.

Женщину не возвысили, а унизили до равенства с мужчиной. Сколько мук и унижений во время варфоломеевских ночей сталинизма перенесли жены и дочери так называемых “врагов народа”! Е. Гинзбург в своей потрясающей книге “Крутой маршрут” пишет о седьмом вагоне, набитом женщинами — “врагами народа”, который двигался в глубь покрытой лагерями Сибири: “Белье будет меняться только сильно менструальное, — торжественным голосом объявил начальник конвоя, — остальное — только на выжарку. Выжарят, стало быть, в дезокамере, покуда моетесь, и надевайте обратно. Хоть не шибко красиво, зато уж и заразы никакой не будет...” “Какие сотни тысяч лет цивилизации отделяют этот совсем не злобный, а даже доброжелательно соболезнующий монолог начальника конвоя от пушкинского: “Я вас любил: любовь еще, быть может...”“?!

Из беременной Ольги Берггольц выбили сапогами ребенка. Марину Цветаеву, несмотря на ее просьбу, не взяли даже в судомойки при писательской чистопольской столовой, и она повесилась в Елабуге.

В то время, когда на экранах страны Любовь Орлова и Марина Ладынина талантливо изображали жизнерадостных, исполненных счастья труда советских женщин, миллионы реальных женщин вкалывали в нищенствующих колхозах, месили ногами бетон, рожали детишек в бараках, не многим лучше лагерных. Были женщины с плакатов — летчица Валентина Гризодубова, сборщица хлопка Мамлакат Нахангова, свекловод Мария Демченко, но правдивый портрет рядовой советской женщины был написан лишь в душераздирающей частушке:

Я и лошадь, я и бык,
я и баба, и мужик.

Привилегированность дам так называемого “высшего

советского общества“ была особой — крепостной привилегированностью. Сталин садистски издевался над своими соратниками, объявив шпионками жен Молотова, Калинина, и арестовал на всякий случай даже жену своего верного “личарды“ — Поскребышева.

Женщины-летчицы, женщины-партизанки, женщины-военврачи и санитарки и, наконец, женщины тыла были великой женской армией, наравне с мужчинами разгромившей фашизм. Но даже подвиг Зои Космодемьянской, выкрикнувшей с петлей на шее “Сталин придет!“, не смягчил сердце тирана по отношению к нашим многострадальным женщинам: для него они были лишь винтиками женского пола. После войны в деревне именно женщины поднимали на своем горбу Россию, а у них безжалостно отбирали семенной фонд. В стране, где награждали женщин орденом матери-героини, никому не приходило в голову, что можно было бы награждать правом не работать, а только воспитывать детей.

Был фильм “Член правительства“, но на самом деле женщин в правительстве не было. Е. Фурцева осталась в памяти редким исключением. Она довольно находчиво помогла Н. Хрущеву провести Пленум ЦК, где он победил группу Молотова, Кагановича и др. Однако Хрущев по исторической традиции властелинов убирать тех, кто помог, вывел Фурцеву из Президиума ЦК, оставив ее только министром культуры. Калатозов и я, бывшие однажды на приеме у Фурцевой, были потрясены тем, как без всякого спроса в ее кабинет вошел какой-то военный связист, отрезал кусачками особую “сверхвертушку“ и унес под мышкой. Фурцева чуть не до крови закусила губу от такого грубого оскорбления. Эти люди даже не подумали, что она не только бывший член Президиума, но прежде всего — женщина.

Царивший столько лет закон, запрещающий аборт, был не только надругательством, но и практически убийством множества женщин, вынужденных делать аборт тайком у сомнительных повивальных бабок, у всякого рода шарлатанов. Несколько поколений в стране воспитывались аномальным методом отдельного обучения, и отчуждение мужчин и женщин усугубилось.

Были попытки освободить женщин от тяжелого физического труда: так, например, запретили женщинам работать в шахтах, под землей. Знаменитые, воспетые шахтер-

ским песенным фольклором откачницы ушли в прошлое. Но мужчины не хотели работать на их нелегком месте за ту же самую низкую зарплату, и ее пришлось повысить.

Спрашивается: а почему же за совершенно одинаковую работу женщинам столько лет платили меньше? Женская зарплата по стране и сейчас составляет 60 процентов от мужской. Потому ли, что мужской труд тяжелее? Или высокооплачиваемые должности занимают в основном мужчины? Думаю, что более всего в низкой заработной плате для женщин повинно ни на чем не основанное чувство превосходства своего пола — своего рода мужской шовинизм.

В моей первоначальной предвыборной программе, напечатанной в “Огоньке”, был пункт о запрещении использовать женщин на тяжелых работах. Однако я получил ряд писем, пронзивших меня своей трагической безисходностью: женщины пишут, что только на тяжелых работах они могут заработать хорошие деньги, и такой запрет был бы для них катастрофой.

А ведь у советской работающей женщины не одна, а три работы. Первая работа — работа. Вторая работа — очереди, Третья работа — дети, дом, кухня.

В “Советской России” от 23 апреля напечатана любопытная информация о том, что австрийские женщины ежегодно продельвают домашнюю работу, стоимость которой составляет около 350 миллиардов шиллингов. Уборка, стирка, глажение белья оцениваются в 130 миллиардов. Кухонная работа — в 60 миллиардов.

Кто и когда возьмется подсчитать, сколько стоит домашняя работа советских женщин? А сколько стоит та страшная, изнурительная работа, на которую уходит столько нервов, — очереди?

Несколько лет назад я был в столице ГДР. Зашел в небольшой магазин неподалеку от гостиницы. Мне ничего не надо было там покупать, но меня вело чисто советское продовольственное любопытство. Магазин был не фирменный, не валютный, однако в нем было видов двадцать колбас — и твердокопченая, и полукопченая, и глазированная, и ливерная, и телячья, и охотничья, и... И вдруг рядом я услышал стук чего-то упавшего на пол. На полу без чувств лежала молодая девушка. По прическе, по рисунку крепдешинового платья, по бежевым босоножкам и по многим другим не поддающимся

определению приметам я узнал свою соотечественницу. До этого я только читал об обмороках в романах девятнадцатого века, но обморок как таковой увидел в первый раз. Девушка, приходя в сознание, шептала: “За что? За что?” — пока я старался привести ее в чувство. Наконец мне это удалось, и я повел ее в ближнее кафе. Что же с ней произошло? Что было закодировано под этим вопросом “За что? За что?” Девушка была из алтайского колхоза, работала на комбайне, на тракторе, на заработки не жаловалась. Девушку премировали за трудовые успехи поездкой в ГДР. Увидев обилие в магазине колбас, сыров, всего-всего, свободно, без очереди, она была потрясена. “Как же это понять? — говорила девушка. — Мы ведь выиграли войну, а они проиграли. Я не потому, что они живут хорошо... Но почему мы живем так плохо? За что?” Со вздохом я подумал, что, слава богу, она попала сначала сюда, а не в Западный Берлин, где есть фирменный магазин с выбором не меньше, чем пятьсот сортов разных колбас.

Действительно, почему живем так плохо? За что?

Академик Шаталин приводит в “Огоньке” устрашающую цифру: неудовлетворенный спрос населения превышает 70 миллиардов рублей.

Конечно, от неудовлетворенного спроса в торговле страдают и мужчины. Но прежде всего — опять-таки женщины. Ведь это именно им приходится беспрестанно “выкручиваться”. Многие иностранцы восхищаются, как хорошо теперь одеваются советские женщины. Знали бы они, сколько ухищрений, сколько правды неправд стоит за каждой деталью одежды советской женщины! Восхищаются гостеприимством наших женщин, их кулинарным талантом. А сколько нашим удивительным русским хозяйкам приходится покумекать, поизощряться в добывании всего того, что так красиво и щедро стоит на столе! Женщина покупает и для хозяйства, и для детей, и для мужа, и только уж потом — для себя. А попробуй-ка одновременно достать и сосиски, и стиральный порошок, и бумажные пеленки, и бритвенные лезвия, и какие-нибудь нестыдные и в то же время не очень дорогие туфли. Каждая советская женщина уже хотя бы за эту постоянную работу снабженца должна получать полную пенсию! А почему до сих пор воспитание хотя бы до одного года ребенка не приравнено к государственной работе с сохранением полной зарплаты?

Трагически отставая в экономике от ведущих стран, мы тем не менее триумфально вырвались в мировые лидеры по числу разводов. Почему? Катастрофическая бытовая взаимораздраженность, приводящая к взаимоубийству любви. Когда у каждого — своя отдельная комната, то хотя бы есть куда убежать во время ссоры, чтобы не дать выплеснуться раздражению. А если некуда убежать — потому что комната только одна? А если в этой же самой комнате ютятся и родители? По итогам недавнего социологического опроса, многие советские женщины причиной развода называют свои несложившиеся отношения с родителями мужа или мужа — с ее родителями.

Американские женщины почти не упоминают как причину развода эту проблему. Почему? Да потому, что наши молодые часто вынуждены жить вместе с родителями, порой в крохотном закутке, а американцы немедленно отделяются, и отношения с родителями у них остаются прекрасными. Наши женщины настолько устают от работы, быта, от метражной зажатости, от затравленности родственниками, от невнимательности мужей, что порой физически преждевременно перестают быть женщинами. Для того чтобы достать хорошие кремы, предохраняющие от постарения, им приходится тратить столько сил, что от этого они еще быстрее стареют. Покупать французские духи на талоны о сдаче макулатуры и металлолома — это, что ли, уважение к женщине? Этого даже Кафка и Оруэлл в самых страшных кошмарах не представляли.

Одна из наших известных “общественниц” заявила, что не надо нам никаких платьев из-за границы — иначе свои никогда не научимся шить. Может быть, в момент этой телевизионной передачи она и была в советском платье, но, видимо, в каком-нибудь уникальном образце. Женщине неважно, какое это платье — советское или иностранное, лишь бы оно не попадалось на каждой третьей, лишь бы оно было красивым и желательно недорогим. Так вот, хватит дутого патриотизма в рассуждении об отечественной продукции — давайте продукцию не хуже иностранной. А пока нет, не жмитесь на валюту, закупайте, чтобы наши женщины красиво одевались, не то состарятся, а помодничать не успеют. Неужели наши женщины не заслужили того, чтобы красиво одеваться? Чтобы красиво одевать своих детей? А мы, мужчины,

еще осмеливаемся их поучать — какими они должны быть наши многострадальные женщины.

Несколько наших “известных общественниц”, при всем моем уважении к ним, вряд ли могут выразить все чаболевшие проблемы женщин СССР. Нам нужна ассоциация “Женщины за права женщин”. Нам нужны женщины во всех эшелонах Советской власти и государства. У нас нет ни одной женщины — министра СССР, ни одной женщины — главного редактора всесоюзной газеты. Как будто в укор нам в “Правде” 8 Марта были опубликованы фотографии пяти женщин — руководителей ряда государств мира.

Дело, конечно, не просто в бессловесных представителях от женщин — для галочки. К сожалению, именно таких бессловесных делегатов-женщин было много на XIX партконференции и с ее трибуны из уст женщин не прозвучало ни одного смелого, государственного слова.

Разговоры между собой некоторых женщин-делегатов в фойе сводились к сетованию на то, что на этой конференции нет спецмагазина. Я не обвиняю этих честных тружениц — доярок, крановщиц, сборщиц хлопка, приехавших из тех мест, где днем с огнем не найдешь ползунки для детей, детское мыло или хорошие сапоги для себя. Но зачем было делегировать их, весьма смутно понимавших, что на их глазах в Кремле шла серьезная политическая борьба за их собственное будущее, за будущее их детей?

Уже сейчас по списку народных депутатов СССР видно, что вместе с некоторыми мужчинами там будут и кое-какие женщины-депутаты, может быть, хорошие производственницы, но все ли они подготовлены к такой исторически ответственной, законодательной роли? Многие прекрасные женщины-кандидаты не прошли сквозь “драконовы зубы” окружных комиссий. Меня, например, ошеломили замечательные экологические и нравственные программы Черкасовой — в Люблинском районе, Усовой — в Мытищинском. А вот Ярошинскую, ласково прозванную на Житомирщине “наша Алла”, местная бюрократия не смогла остановить.

Но я надеюсь, что женщины-депутаты все-таки сплотятся и выдвинут в лидеры лучших. Такими лидерами могут неожиданно стать кто-то и из женщин-крестьянок, и из женщин-рабочих. Но не надо замыкаться в классо-

вой узости, которая столько нам навредила. Женщины — представительницы интеллигенции могут порой защищать интересы и доярок, и крановщиц, и сборщиц хлопка не хуже, а порой и лучше, чем те сделали бы это сами.

Мы, мужчины, должны поубавить свою необоснованную спесь или свое благожелательное опекуновское превосходство при разговоре о месте женщины в обществе. Хватит взяток мимозами к 8 Марта и подачек тортами к дням рождений. Нам нужна перестройка в отношении к женщинам. С женщин начинается народ. Можно ли уважать народ, если мы не уважаем женщин?

1989

ВЫБОР БУДУЩЕГО

Первые многокандидатные выборы народных депутатов — это важнейший отрезок тяжелой, но единственно спасительной дороги к демократии. Эти выборы еще нельзя назвать свободными, потому что мы еще не смогли избавиться от многих недемократических привычек. Демократизация — это освобождение от привычек к несвободе. Не дай нам бог преступной свободы от собственной совести. Свобода личности при свободе от совести — угроза обществу. Но только свобода личности, не попирающей свободу других личностей, есть демократия. Наш трагический опыт показал, что свободы народа без личных свобод не бывает. Депутаты должны быть защитниками наших личных свобод, и только тогда они будут иметь право называться защитниками народа. Выборы депутатов — это выбор нами нашего будущего. Голосуя, подумайте: будет ли ваш депутат политическим официантом “чего изволите?” или найдет в себе мужество сказать “нет!”, если снова начнут возникать эмбриональные тираны или головастиковые ничтожества, склонные к выпрыгиванию на Мавзолей, если кому-то снова придет в голову посылать наших сыновей в чуждадельные страны на бессмысленную погибель, если в лоно матери-земли снова будут закладывать, как мины замедленного действия, будущие чернобыли... Не ловитесь на кандидатов-ремонтников с мышлением райсоветовского масштаба, обещающих избирателям с три короба благоустройств. Без политического и нравственного благоустройства все обещания прочих благоустройств так и останутся обещаниями. Самое главное благоустройство квартиры — это не циклевка полов, а гарантия, что дверь этой квартиры уже никогда не смогут выбить полицейским сапогом и арестовать ни в чем не повинных хозяев. Только когда такая гарантия есть, можно спокойно циклевать.

Но в то же время не ловитесь на кандидатов-утопистов, слишком высокопарно рассуждающих о правовом государстве, забывая о праве каждого иметь свою крышу над головой, поесть чего хочется, обуться-одеться во что хочется и поциклевать как хочется. О школе демократии говорить рано, ибо мы в ее яслях. Для меня лично эти выборы были уникальным жизненным уроком: в чем-то радостным, в чем-то жестоким. Демократия — это не об-

шество для принцесс на горошинах. Надо уметь себе самому сказать с улыбкой, означающей, что жизнь продолжается: “Я проиграл, но демократия выиграла“. Если, конечно, выиграла именно она...

Крошечная инициативная группа “Мосугольснабсбыта“, выдвинувшая меня, и я сам были наивны в предвыборной борьбе. Мы вовремя не подумали, что надо успеть быть выдвинутым как можно большим количеством организаций, чтобы иметь больше выборщиков на окружном собрании. А когда спохватились, то, как по мановению чьей-то невидимой длани, двери всех Дворцов культуры и клубов Ленинского избирательного округа оказались для меня закрытыми. Мы еле добыли Дом медика. Однако избирком объявил это собрание неполномочным, придравшись к тому, что Дом медика находится за границей Ленинского избирательного округа, хотя все собравшиеся были именно оттуда.

Итак, к началу окружного собрания, где присутствовало 12 кандидатов и 601 избиратель, у меня было всего 6 выборщиков. Вот какими размышлениями я поделился с избирателями, говоря о самых главных, на мой взгляд, задачах перестройки.

Главная нравственная задача: поднять достоинство нашей страны через поднятие личного достоинства каждого гражданина. Мы должны наконец превратить Верховный Совет, который часто напоминал в прошлом театр марионеток, в полномочное собрание профессионально компетентных, независимых народных представителей. Нам не нужен Верховный Совет, состоящий из подчиненных, боящихся начальников, или их начальников, боящихся более высоких начальников, или таких начальников, которые не боятся ни народного мнения, ни собственной совести. Именно при подобном Верховном Совете нас подвергли такому унижению гражданского достоинства, когда, даже не спрашивая народного мнения, ввязывали нас в конфликт в Афганистане, где мы понесли человеческие, нравственные и материальные потери. Сохранение нашего достоинства в том, что никто не должен преследоваться за свои убеждения, включая религиозные, за свои высказывания, включая самые критические по самому высокому чиновному адресу, в прессе или на собраниях; за участие в демонстрациях, шествиях, митингах, если они не носят агрессивного характера. Никто не

может быть привлечен к судебной ответственности, находиться под следствием без адвокатской помощи. Ввести в действие юридические статьи за оскорбления, задевающие национальное достоинство. Все народы СССР должны уметь защищать достоинство каждого народа, включая язык, культуру, традиции и верования. Прекратить давление на прессу и суд со стороны партийных и государственных органов, а также органов как таковых. Привлекать к суду за давление на прессу и суд. Но одновременно привлекать и прессу, и суд к суду за необоснованные обвинения и приговоры. Никто не может быть оклеветан или незаслуженно оскорблен без последующего наказания клеветников и оскорбителей. Оградить семейную жизнь от бестактного влезания в нее профсоюзных и прочих организаций, ибо иногда это похоже на влезание не совсем чистыми руками в человеческую душу. Отменить унижающую достоинство прописку. Отменить оскорбительную выездную процедуру и ввести постоянный заграничный паспорт сроком на 5 лет.

Главная народнохозяйственная задача: искоренение всех унижающих человеческое достоинство дефицитов. Для этого необходима полная, без всяких оговорок и уловок, отмена всех закрытых распределителей, спецмагазинов, спецбольниц, спецаптек, ведущих к недопустимому в социалистическом обществе созданию спецкоммунистов. Передача земли согласно историческому лозунгу "Земля — крестьянам" в собственность тех, кто ее обрабатывает, не поучая их, что делать с этой землей. Беспрепятственно разрешать трудящимся города строительство сельских домов с выделением участков в случае свободной земли. Постепенный переход средств производства на предприятиях в собственность производителей. Одновременно с борьбой против обдирательства кооператорами потребителей бороться против обдирательства этих кооператоров государственными взяточниками, рэкетирами. Помогать госкредитами тем кооператорам, которые не паразитируют на перехваченной госпродукции, а сами производят нужнейшую народу товарную массу, тем самым ликвидируя дефициты.

Кооперация должна быть возможностью не только для тех, кто обладает первоначальным капиталом (в ряде случаев наворованным), но для всех честных, предприимчивых людей, получив кредиты от государства, помочь

государству вылезти из этой ямы, в которой оно оказалось. Поступенчатое перерастание государственных нерентабельных предприятий в акционерные, кооперативные. Государство должно быть не завистливым конкурентом кооператоров, а их заинтересованным партнером. Сокращение, в ряде неоправданных случаев и прекращение помощи слаборазвитым странам, пока мы сами не превратимся в высокоразвитую державу.

Прекращение экспорта наших высококвалифицированных специалистов за рубеж в то время, когда стране трагически не хватает умных голов и рук. Ограничение вывоза, а в ряде случаев и наложение вето на вывоз продуктов, товаров, включая автомашины, которыми мы не можем обеспечить собственных граждан. Ставка на экспорт переработанного сырья, а не сырья как такового. Полное равноправие партийных и беспартийных при выдвижении на руководящие посты, включая самые высшие. Это очистит партию от карьеристских элементов и привлечет многих талантливых людей, представителей более чем 200-миллионной партии беспартийных, к новой гражданской активности. Существование кадрового неравноправия коммунистов и беспартийных — один из главных тормозов перестройки. Отмена возрастной боязни при выдвижении способной молодежи на руководящие посты во всех сферах. Руководители молодежных организаций не должны быть старше тридцати лет. Одновременная отмена возрастной боязни при сохранении уважаемых старших мастеров своего дела. Постепенное поднятие уровня пенсий, предоставление консультативной оплачиваемой работы пенсионерам. Приравнять воспитание детей к государственной работе и выплачивать матерям в течение одного года полную зарплату при отпуске. Категорически запретить использование женщин на тяжелом физическом труде, в спортивных упражнениях, опасных для материнства. Вовлекать инвалидов в общественную жизнь, утверждать милосердие как норму жизни. Сократить службу в армии до года при повышении интенсивности военного обучения, а затем превратить ее в квалифицированную профессиональную армию. Профессиональная армия обеспечит безопасность наших границ гораздо основательнее, чем дилетанты в погонах. Коренная реформа здравоохранения, связанная с модернизацией диагностики, фармакологии, стационарного лечения. Здраво-

охранение — это та единственная область, где мы не имеем права экономить на валютных затратах. Реформа образования, создание наконец-то стабильных учебников, не зависящих от очередной конъюнктуры. Сокращение не всегда необходимых политчасов за счет увеличения действительно необходимых учебных часов по профессии. Прекращение мелочной опеки над учащимися, предоставление им большей свободы для общественной самостоятельности с детства. Создание вневедомственной комиссии с правом экологического вето, открытая подотчетность народу всех министерств, включая Министерство обороны, КГБ, МВД. Рассекречивание всех партийных, государственных и ведомственных архивов после десяти лет, введение в Уголовный кодекс специальной статьи за сокрытие и уничтожение архивов. Введение в Уголовный кодекс коллективной и индивидуальной ответственности руководителей министерств и предприятий за нанесение ущерба природе. Превращение профсоюзных организаций, которые иногда являются лишь придатками парторганизации, в независимую рабочую совесть народа. Предоставление независимости общественным организациям, способствующим перестройке.

Главная внешнеполитическая задача: всячески способствовать не конфронтации стран с разными политико-экономическими системами, а их максимальному сближению на основе экономической интеграции, культурного обмена, взаимотерпимости, перенимание лучших черт одной системы другой при учете взаимных ошибок. Только такая практика может привести к постепенному созданию новой модели человечества, где никакой стране, в том числе и нашей, не будет грозить война.

Многие избиратели говорили, что лишь прямые выборы способны обеспечить будущую демократию. Обеспечить будущее гарантиями нужно уже сейчас, ибо дорогу к демократии непрерывно минируют то ниноандреевскими статьями, то полицейскими мерами, как это было во время поминального шествия в Белоруссии.

Что такое депутат? Это — народный представитель. Избран ты или не избран, все равно каждый из нас в чем-то должен ощущать себя народным представителем, т.е. в какой-то степени депутатом. Может быть, истинная демократия — это и есть общее всегражданство, общее вседепутатство.

ЛЖЕНАБАТ

или

Лозунги из пронафталиненного сундука

Давненько, со времен дела “врачей-отравителей“, когда всячески разжигались антисемитские настроения, мне не приходилось видеть печально памятного лозунга: “Нет — безродным космополитам!“. Но именно этим лозунгом истерически размахивали на трибунах Дворца спорта “Крылья Советов“ 23 января, где в рамках праздника “Голоса и краски России“ проходила встреча редколлегий и постоянных авторов журналов “Москва“, “Молодая гвардия“ и “Роман-газета“ с читателями. Впрочем, и при участии общества “Память“, поскольку в зале развевались и лозунг “Движение “Память“ победит“, и Красное знамя, на котором серп и молот были заменены на Георгия Победоносца. Георгий Победоносец на знамени в руках воинов, защищавших Россию от врагов-супостатов, был символом русского мужества. Но не забудем, что тот же самый Георгий Победоносец в руках черносотенцев был символом погромов. Дело не в самом Георгии Победоносце, а в том, кто подразумевался под змием действительный ли враг или враг, изобретенный для оправдания необходимости махать копьём налево и направо.

Итак, кто же такие были змии, обозначенные в речах ряда ораторов? Их был целый террариум — причудливый извивающийся клубок существ с ядовитыми жалами: Троцкий, Свердлов, Бухарин, Каганович, Заславская, Аганбегян, Коротич, Б.Васильев, Нуйкин, Шмелев, Стреляный. В виде пресмыкающихся (перед Западом) были представлены журналы “Знамя“, “Огонек“, газета “Московские новости“.

Понимаю, что ни председатель, ни президиум не могут полностью отвечать ни за поведение зала, ни за каждое выступление. Но если председатель и президиум не реагируют на оскорбительные речи, на хулиганские выходки, то разделяют за это часть ответственности. Как, например, за речь заместителя главного редактора “Молодой гвардии“ Вячеслава Горбачева, который в издевательском духе национального стравливания скрупулезно зачитывал статистику: сколько в стране евреев-академиков, сколько евреев-писателей, сколько евреев с высшим

образованием и т.д. В этой связи мне вспомнился рассказ одного советского дирижера о разговоре с американским дирижером. Советский дирижер, отвергая слухи об антисемитизме, якобы еще встречающемся в СССР, сказал: “Вот, например, в нашем оркестре, приехавшем к вам, в США, семь человек — евреи...” Американский дирижер печально заметил ему в ответ: “Вы знаете, а я в своем оркестре евреев никогда не считал...”

Вот некоторые записи, сделанные мною в блокноте: “По-разному, конечно, можно относиться к желтому “Огоньку”...” Выкрики: “Долой желтую прессу! Позор!” “Сейчас Коротич в Америке. Его пригласил Буш... У них одно правление”. Выкрик: “Пусть не возвращается!” “Пытаются замутить сознание, очерняя Сталина... Да, конечно, у Сталина были отдельные ошибки, но...” (бурные аплодисменты, заглушающие робкое “но” и переходящие в овацию).

Кто-то, может быть, захочет отнести мои зарисовки с натуры по разряду справедливо осуждаемой литературной междоусобицы. Не советую. Приведенные факты не имеют отношения к литературе: разжигание вражды — явление политическое.

Странное у меня было чувство, будто я уже где-то видел это наркотическое упоение собственными выкриками. Вспомнилась, к слову, “тусовка” в день рождения Гитлера несколько лет назад на Пушкинской площади, ритмическое раскачивание подростков с осоловелыми глазами. Не прибились ли сегодня эти вчерашние подростки в поисках новой, более легальной стадности к шовинистским лозунгам? Шовинизм — это самая дешевая возможность почувствовать свое превосходство, которое дается не умом, не талантом, не трудом, не добротой душевной, а просто национальностью.

Лозунги, вытаскиваемые из пронафталиненных сундуков, могут превратиться в боевой арсенал реакции. Перестройка — это попытка духовного и экономического раскрепощения. Но иногда раскрепощаются и низменные, подстрекательские страсти, ведущие сограждан не к взаимопониманию, а к взаимоненависти.

Я против разгонно-дубиночной аргументации, против унтер-пришибеевского запретительства. Но есть случаи, когда нельзя молчать и надо прибегать к аргументации нравственной. Нельзя допускать, чтобы демократию ис-

пользовали против демократии, гласность — для удушения гласности. Многие в истории нам еще не будет ясно до тех пор, пока окончательно не рассекретят все архивы. Но навсегда рассекречено одно страшнейшее преступление против народа — это возбуждение взаимоненависти при помощи недоказанных обвинений. Именно это возбуждение взаимоненависти и привело к миллионам трупов, на долгие годы преградившим нашему народу путь к демократии.

Советские и американские кинематографисты всерьез поставили вопрос о взаимном прекращении создания “образа врага” на экранах. Но, к сожалению, у нас не перевелись любители создавать этот “образ врага” из своих соотечественников.

На вечере прозвучало: “Прислушайтесь, народ на площади бьет в рельс”. Как показывает история, нет ничего ненародней, чем попытки группы людей говорить от имени народа, отбирая это право у других. Призывать к восстановлению храма Христа Спасителя без соблюдения христианской терпимости — это разрушение храма надежды на всечеловеческое братство.

Мы должны восстановить все поруганные национальные русские святыни. Но не будем забывать, что наши национальные святыни — это и доброта, и гостеприимство, и всемирная отзывчивость. Русский патриотизм — это Пушкин, Толстой, а не сочинители протоколов сионских мудрецов.

Не народ бьет в рельс — это его зазывают лженабатов монополизаторы русского патриотизма.

1989

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ НАСИЛИЯ?

Дорогие братья — грузинские писатели!

Мы, члены московского комитета писателей “Апрель” с вами в скорби вашей. Грузия всегда была второй колыбелью русской поэзии. У нас в эти дни грузинского национального траура такое чувство, как будто веревку этой колыбели подсекли саперной лопаткой, а по самой колыбели проехали танковыми гусеницами, забрызгали ее сначала химическим ядом, а потом кровью невинных. Кровь народа — негодный строительный раствор для здания дружбы народов. Осуждая любой экстремизм, мы осуждаем и экстремизм государственный. Голос общественности уже воззвал о недопустимом насилии в Куропатах, когда против безоружных людей применяли дубинки и слезоточивые газы. Однако виновные не были наказаны, ибо они как бы не существуют. Сейчас нечто подобное, хотя совсем по другому поводу и совсем в иных, более устрашающих масштабах, — жертвы есть, а виновных как бы нет. Может быть, безнаказанность относительно бескровного, но все-таки отвратительного насилия в Куропатах и позволила произойти кровавому бессмысленному насилию в Тбилиси? Безнаказанность насилия заманчиво заразительна, как долго не вытравливаемая из организма инфекция жестокости. Мы против насилия, на какое бывает подчас способна потерявшая контроль над собой толпа, но и против полицейского насилия, на которое преступными приказами толкают не только спецчасти, но и армию. Надо уметь убеждать и переубеждать без танков — не бронированными, не огнестрельными, не химическими, а нравственными аргументами. Наука нравственного переубеждения людей немыслима без мужества терпимости, без колоссальной выдержки. Брак перестройки с отравляющим газом вопиюще неестествен, и от него не может быть нормальных детей. Мы требуем скрупулезного установления — кто был виновен в отданном бессмысленно жестоком приказе и в бессмысленно жестоком исполнении. Наказание наконец должно последовать, чтобы никому впредь было не повадно неразборчиво поднимать руку на невинных. Мы не должны позволить, чтобы никакая улица нашей страны стала бы другим

иноименным проспектом Руставели, на которой безутешным родителям пришлось бы потом класть траурные цветы.

Председатель Совета по грузинской литературе

Евгений ЕВТУШЕНКО

1989, апрель

ПОБЕДЫ И ШУТКИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

Трагически медленно демократизируются экономика, правовая система, государственный аппарат, армия, милиция, в ряде случаев применяющая необоснованно грубые меры против мирных шествий и митингов. По-прежнему медленно демократизируется статистика. Мы до сих пор не знаем численности собственной армии, стоимости обороны, не знаем, сколько у нас заключенных, сколько тюрем и лагерей, не знаем, сколько у нас психически больных, сколько случаев венерических болезней, сколько самоубийств. Мы не знаем размеров нашей помощи развивающимся странам, не знаем размеров наших собственных займов. Мы не знаем точных сегодняшних данных о последствиях радиации Чернобыля и прогнозов относительно будущих потенциальных землетрясений... Да мало ли чего мы не знаем! Список того, о чем мы не информированы или о чем дезинформированы, вряд ли уместился бы на просторстве полного собрания сочинений Льва Толстого!

Демократизация общества — это в первую очередь приближение к равной степени информированности. Конечно, профессионал КГБ, партработник и слесарь-водопроводчик по роду своих занятий нуждаются в информации разного рода. Но нельзя, чтобы в нашей стране существовала какая-либо каста, использующая свое преимущество в информированности для сохранения этой кастовости. Демократизация общества упирается в дефицит информации. Не должно быть никаких закрытых распределителей — в том числе и закрытых распределителей информации.

Итак, после первых лет перестройки многие результаты неутешительны. Но сама возможность честно сказать о неутешительности результатов является не только утешением, но и одной из побед демократизации.

Победа демократизации — это постепенное изменение состава воздуха в стране, из которого мало-помалу изымаются такие отравляющие ингредиенты, как страх высказать собственное мнение, как ощущение себя только крошечной послушной деталью государственной машины. Но рядом с победами демократизации есть и ее шутки, порой злые. Так, например, гласность, ратующая за свободу мышления, — это победа, а так называемая

гласность, ратующая за подавление мышления, — это уже шутка, и довольно злая. Призывы к восстановлению разрушенных национальных традиций, памятников культуры — это победа, а вот великодержавная шовинистическая истерия, доходящая до антисемитизма, или националистская ограниченность, доходящая до антирусизма, — это настолько злая шутка, что дело выглядит нешуточно.

Одна из побед демократизации — это многокандидатная система выборов в народные депутаты. Но и тут бывают злые шутки. Так, например, в президиуме Академии наук забаллотировали двух замечательных ученых и достойных граждан — А. Сахарова и Р. Сагдеева. Вторая злая шутка — грязный скандал, разыгранный хулиганами-шовинистами при первой попытке выдвижения В. Коротича. Третья злая шутка — при тайном голосовании в Союзе писателей не выбрали ни одного армянского писателя — это после всех клятв в дружбе и сочувствии к национальному бедствию Армении. Как могли подниматься руки и вычеркивать имена представителей этой многострадальной земли? Дело тут не в национальном вопросе, а просто-напросто в групповщине: надо было “протаскивать” своих, а армяне в эту группу не входили. Стыдоба... Групповщина в Союзе писателей доходила до того, что относительно молодой писатель Личутин дал самоотвод под высокомерным предлогом того, что ниже его достоинства быть в одном списке с редактором “Огонька”... Это все шутки злые, недостойные.

Но были и шутки совсем не злые, а наивно-смешные, происходящие от нашей полной непривычки к демократии, от катастрофически уморительного незнания собственных прав и избирательных правил. Изначально были непонятны некоторые квоты — почему, например, в партийном списке именно 100% кандидатов, а не 99 или 101 и почему в Союзе писателей на 10 тысяч его членов — 10 кандидатов и т.д.

На повторном избирательном митинге в Дзержинском районе, где выдвигался Коротич, царил невообразимый хаос. Сравнительно небольшой зал (мест 500) оказался набитым до отказа за два часа до объявленного времени. В результате тысячи две человек столпились на улице, где бездейательно, хотя и относительно тактично, маячили работники милиции. По толпе ходили слухи (впоследствии неоправдавшиеся), что в зале находятся противники

Коротича, которые снова хотят сорвать собрание. Толпа бушевала. Но это бушевание энтузиастов перекрыло путь инициативной группе, которая должна была представлять находившегося в заграничной командировке Коротича. Мне пришлось взять мегафон в автомашине ГАИ и попросить толпу расступиться, чтобы пропустить С.Н. Федорова, А.Адамовича, Ю.Карякина и меня. Люди, не попавшие внутрь, расступились и вручили мне списки голосов за Коротича с номерами паспортов и адресами. Пройдя внутрь, я немедленно передал эти списки (около трехсот голосов) представителю окружной избирательной комиссии, спросив его — действительны ли будут эти голоса? И вдруг он растерялся. Он не знал. Он честно пытался дозвониться в окружную комиссию, но телефон, конечно, был занят. А собрание надо было открывать. Проникнуть в битком набитый зал было невозможно, потому что все фойе были тоже перенабиты. Оставался один путь — через сцену и президиум. Но проход на сцену был бдительно заперт на ключ. Когда ключ наконец-то нашли, и я, теряя пуговицы, продрался на сцену и хотел спуститься в зал, то увидел, что это невозможно — в зале негде яблоку упасть. Пришлось остаться на сцене. Немедленно раздался злобенький, но процессуально справедливый визг: “Почему Евтушенко в президиуме?” К счастью, зал оказался доброжелательным и немедленно проголосовал за то, чтобы меня и моих товарищей довыбрать в президиум. Зал учился демократии. Несмотря на шум, крики и неразбериху в самом начале, зал на глазах самодисциплинировался, отсеивал крикунов сам. Зал вполне тактично выслушал речи двух других кандидатов, хотя явно не был настроен голосовать за них. Но вежливость, человеческое уважение были безусловно проявлены. На моих глазах реально происходил первичный процесс демократизации: саморегулирование того, что сначала могло показаться непоправимым хаосом. Почему-то приняв меня за наводителя порядка, попросили сходить в другое помещение, где импровизированно разместились еще примерно тысяча избирателей из тех, кто не попал в официально объявленное помещение. А может быть, эту импровизацию кто-то все-таки по-хозяйски продумал заранее? Там тоже царил то, что могло показаться хаосом, — не было достаточно бюллетеней, царили бесконечные дебаты. Председательствую-

щий — очень милый, но совершенно задерганный человек — обиженно говорил аудитории: “Ну, если вы меня не слушаете, я вообще могу уйти...” — и даже пытался предложить свой микрофон кому-нибудь другому. Но зал, постепенно поняв, что хаос ничего не решит, начал выплавлять конструктивное решение из разноречивых криков. Реальностью была нехватка бюллетеней. Тогда зал проголосовал за открытое голосование. Поняв, что открытое голосование с несколькими кандидатами будет практически неосуществимо, зал вышел на единую кандидатуру, отведя все остальные без какого-либо оскорбительного оттенка. Это была тоже победа демократизации, хотя они и не обошлись без шуток. Так, во время выборов счетной комиссии один пенсионер-женофоб, которому женщины, видно, когда-то сильно насолили, потребовал убрать женщин со сцены и заменить их ветеранами войны. Но зал и воспринял это только как шутку — не больше.

При выдвижении академика Сахарова в Доме кинематографистов тоже были “шутки демократизации”, когда к микрофону прорвались опереточные типажи, но и кандидат нешуточностью своей программы, и зал нешуточностью своего отношения к кандидату выровняли ситуацию в сторону серьезной гражданственности.

Я тоже испытал на себе шутки демократизации. Будучи выдвинут Московской писательской организацией, я был забаллотирован пленумом Союза писателей СССР. Затем, однако, я был выдвинут кандидатом одного из трудовых коллективов Ленинского избирательного округа. Несмотря на это, по неизвестным причинам, когда я по просьбе инициативной группы написал в окружную избирательную комиссию о согласии баллотироваться, то мое согласие не хотели принимать. Была ли тут злая воля? Уверен, что нет. Они опять не знали (!), могут ли принимать мое письменное согласие или нет.

Таковы некоторые победы и шутки “демократизации”.

Мне не хотелось бы, чтобы в будущем наши выборы стали такими же изощренными и циничными, как иногда в некоторых западных странах. Что-то есть неповторимо искреннее, неприбранно домашнее в этом нашем первом опыте свободных выборов. Может быть, мне просто повезло с этими двумя собраниями, потому что, судя по прессе, еще многие выдвижения проводят по старинке, по заранее распisanному сценарию. Из этих сценариев, как

показала история, впоследствии ставятся или кровавые трагедии, или жалкие водевили. Надо в будущем распустить факультет политических циничных сценаристов.

Хотелось бы, чтобы в будущем наша избирательная система не впала в чрезмерную ловкаческую искушенность, не утратила бы первоначального привкуса “неорганизованности”, но и все-таки избавилась бы от суматошной любительщины, от юридического невежества. Окончательное суждение о выборах можно, конечно, иметь лишь после окончательных результатов.

Но, несмотря на злые или просто нелепо-безобидные шутки, сама демократизация есть главная собственная победа.

1989

РЕЧЬ НА I СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Дорогие товарищи, нелегко сеять семена перестройки в землю с трещинами национальной розни. Что стоят то-сты за дружбу народов, когда под ножки банкетного сто-ла подтекает кровь! Дружбу народов надо начинать даже не со школы, а еще с детсада, с улицы, с автобуса, с магазина, где еще, к позору нашему, то и дело можно слышать такие оскорбительные для национального досто-инства выражения, как “хохляндия”, “кацап”, “жид”, “ар-мяшка”, “чучмек”, “чухонец”, “кацошка” и так далее.

В развитие мысли депутатов Лихачева, Горбунова, Олейника предлагаю новую статью к главе 9 Конститу-ции СССР: “Суверенитет и национальное достоинство каждой республики СССР гарантируются всеми другими республиками. Оскорбление любого, даже самого мало-численного народа, неуважение к его языку, законам, культуре, экономике, обычаям, верованиям, волеизъявле-нию считать уголовно наказуемым оскорблением всех со-ветских народов”. (Аплодисменты.)

Нельзя отмыться от прошлого, если нет мыла.

Так называемая “сильная рука” всегда готова злове-ще прирасти к рыхлому телу слабой экономики. Если нет демократии экономики, то демократия всегда под уг-розой. Недемократичность экономики объясняется прежде всего культом личности, который у нас никогда не пре-кращался, — культура личности государства. Документ, зачитанный здесь от имени нашего многострадального крестьянства, — это крик самой земли, насилуемой беско-нечными противоречащими друг другу постановлениями, как ей, земле, надлежит жить, что она, земля, должна делать, а чего не должна. Разделяю в этом пункте глубо-кую боль моего давнишнего оппонента Василия Белова, а по другим пунктам мы еще поспорим. Продолжая идею Адамовича, предлагаю отменить специальным законом Верховного Совета сразу все приговоры всем так называ-емым “раскулаченным”, тем самым наконец-то признать вину нашего общества, преступно позволившего лишить землю ее стольких истинных хозяев. (Аплодисменты.) Поддерживая Стародубцева, предлагаю выбросить из статьи 19 Конституции СССР оскорбительную, дурацкую формулировку о необходимости стирания граней между

городом и деревней, что действительно стерло столько деревень с лица земли. Предлагаю выбросить из Конституции полностью статью 22 о превращении сельского труда в разновидность индустриального, что принижает, примитивизирует великую поэтическую профессию хлебороба. (Аплодисменты.)

Культ личности государства отрицательно сказался и на промышленности, давно ставшей не только долгостроем, но и вечностроем “счастливого будущего”.

Мостовики добавляют в строительный раствор соли, чтобы раствор “схватился”. Но если в спешке кладут слишком много соли, то она затем разъедает железную арматуру. Наша экономика похожа на такой пересоленный, разъедаемый коррозией мост, чьи бесконечные ремонты переросли стоимость самого моста. Отраслевые министерства похожи на раздутые ремстройконторы, а Госплан похож иногда на гигантское ателье по мелкому ремонту платья голого короля. (Оживление в зале, аплодисменты.) Культ личности государства привел к государственному монополизму. Государство, монополизировав все основное производство — от канцелярских скрепок до ракет, стало похоже на неуклюжего динозавра с рахитичными, подгибающимися от веса туловища ножками и с крошечным мозгом в голове, находящейся слишком далеко от хвоста. Монополия государства на предприятия и землю — это не социализм, а какой-то полуфеодальный, антигосударственный государственный капитализм. Антигосударственный — потому, что он не выгоден самому государству. Показатель силы государства — это не количество тех, кто с ложкой, а жизненный уровень тех, кто с сошкой. Быть такими бедными, как мы, при таких феноменальных природных богатствах — вот неоспоримое доказательство экономической бесперспективности культа личности государства, государственного монополизма. Надо дать свободу творчества, в том числе и экономическое, не только интеллигенции, но и всем рабочим, крестьянам, служащим.

Статья 40 Конституции, начинающаяся словами: “Граждане СССР имеют право на труд”, не только примитивна, но и оскорбительна. Даже заключенные — это тоже граждане и тоже имеют право на труд.

Предлагаю новый текст статьи 40: “Граждане СССР

имеют право на свободный труд. Свободный труд подразумевает свободный выбор труда: коллективного, семейного, индивидуального, государственного, колхозного, кооперативного, акционерного, арендного. Свободный труд подразумевает право выкупа у государства средств производства, а также право на производство средств производства. Земледельцы имеют право на владение землей как основным средством производства. Землю предоставляют местные Советы сроком до ста лет с правом наследования. Свободный труд есть право продавать продукты труда по цене производителя там, где решит сам производитель. Свободный труд есть право производителей после уплаты госналогов самим определять фонд зарплаты и фонд развития. Свободный труд есть право производить не то, что насильственно диктуется сверху, а то, что диктуется необходимостью рынка, нуждами народа“.

Предлагаю из преамбулы Конституции СССР выбросить хвастливую шапкозакидательскую формулировку: “В СССР построено развитое социалистическое общество“. Надо сначала его построить, а уж потом хвастаться. Следовало бы сократить, а в ряде случаев прекратить помощь слаборазвитым странам, пока наша собственная страна не станет высокоразвитой. (Аплодисменты.)

Мои избиратели из города Харькова — это своего рода Ленинграда Украины, — где интеллигентный рабочий класс и подлинно рабочая интеллигенция, дали мне наказ — строгий наказ — внести в 7 главу Конституции следующую статью: “Граждане СССР, независимо от их партийного, государственного и общественного положения, обладают равными правами в сфере торгового обслуживания, в сфере здравоохранения. Существование в открытой или скрытой форме привилегированных спецмагазинов, спецаптек, спецбольниц считать антиконституционным нарушением принципов социалистического равноправия“. (Аплодисменты.)

Товарищи! Конечно, должны быть депутатские привилегии. Нам, к сожалению, при сегодняшнем положении с билетами нужны депутатские кассы, нужно срочное размещение в гостиницах в связи с важностью народных заданий. Но, товарищи, иметь роскошные депутатские комнаты в аэропортах, на вокзалах, когда рядом спят вповалку женщины, дети, старики, — это уже стыдоба. (Аплодисменты.) Мы же с вами Съезд народных депута-

тов — высший орган власти. Давайте с разрешения председательствующего на собрании совершим сейчас хотя бы одно крошечное, скромное волшебство демократии, проголосуем за то, чтобы все депутатские комнаты отдать под комнаты матери и ребенка и престарелых. (Аплодисменты. Оратор поднимает удостоверение. Зал его поддерживает.) Спасибо за поддержку!

В.И. Ленин на собрании, посвященном его 50-летию, пророчески предупреждал: "...наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение, — именно, в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное и смешное".

И разве не было, товарищи, этого зазнайства, этого партийного самонаграждения, партийного самославословия, когда портреты вождей, лозунги "Слава КПСС" и так далее контрастировали с убийствами миллионов трудящихся, с личной коррупцией, с развалом экономики, с гибелью наших невозвратимых мальчиков в Афганистане?

Историческая заслуга творческой части партии и лично Михаила Сергеевича Горбачева в том, что они мужественно взяли курс на новое мышление. Но новое мышление несовместимо с прежним инерционным партийным монополизмом на выдвижение советских и государственных руководящих кадров. Членов партии в нашей стране около 20 миллионов. Но у нас около ста миллионов беспартийных взрослых! Это же золотой неисчерпаемый запас потенциальных руководящих кадров, а мы продолжаем мусолить все ту же засаленную номенклатурную колоду. В стране нет ни одного беспартийного министра СССР. Днем с огнем не найдешь беспартийного генерального директора. На всю страну, по-моему, лишь один беспартийный министр республики — Раймонд Паулс и лишь один беспартийный редактор всесоюзного журнала Сергей Залыгин, которых на всякий случай надо записать в "Красную книгу": Мне были непонятны здесь высказывания о якобы организованных "темными силами" на нашем Съезде атаках на партию. Здесь всего 292 беспартийных, т.е. меньше 13 процентов. То, что здесь говорилось, товарищи, это практически лишь внутрипартийная дискуссия! Не выступал против партии ни академик Лихачев, ни отец Питирим. Хватит "врагомании"! Пусть те 38 секретарей партийных комитетов, которые были забаллотированы, тоже не объясняют это атаками на пар-

тию. Это просто отрицательная оценка народом их личной деятельности. (Аплодисменты.)

Мы уважаем партию за все лучшее, что она делала и делает, и верим, что она может сделать еще много, но нам не нужен ничей новый персональный культ личности, ни культ партии.

Михаил Сергеевич, помните, что теперь Вы не только Генеральный секретарь ЦК КПСС, но и президент 100-миллионной партии беспартийных, и мы, беспартийные, просим Вас не позволять в дальнейшем такого же кадрового зажима беспартийных в нашей стране. Все мы, партийные и беспартийные, должны быть в единой неделимой партии — партии народа!

Предлагаю дополнительную статью к главе 7 Конституции СССР: "Граждане СССР, независимо от партийности и беспартийности, имеют право на полное равноправие при выдвижении на любые советские государственные посты, включая самые высшие".

Предлагаю также заменить текст статьи 6 на следующий: "Согласно историческому лозунгу большевиков: "Вся власть Советам", главной руководящей и направляющей силой советского общества являются Советы народных депутатов — равноправный союз партийных и беспартийных на основе идей социализма. Высшим органом власти является Съезд Советов".

Предлагаю специальным законом Верховного Совета СССР аннулировать приговоры по всем так называемым "диссидентским" процессам. Вернуть советское гражданство всем, у кого оно было несправедливо отобрано. Предлагаю лишить права на медицинскую практику всех психиатров, которые, нарушая клятву Гиппократата, под видом инакомыслящих запихивали в психушки нормальных, свободомыслящих людей.

В развитие предложения Друцэ, исходя из моего глубокого уважения к нашей армии, предлагаю в статье 31 Конституции СССР следующее добавление в своей редакции: "Советская Армия кровью заслужила благодарную репутацию спасительницы мира от фашизма, и никто не имеет права толкать ее для использования в карательных акциях ни против советских, ни против других народов. Государственные лица, отдающие такие конституционные приказы, должны быть преданы суду".

Предлагаю отменить не только статью III Указа от

8 апреля, по которой можно привлечь к уголовной ответственности за справедливую критику вышестоящих лиц, но и заново пересмотреть весь этот крайне неряшливый и опасный указ. Там есть, например, шпиономанский смехотворный пункт по поводу так называемой “иностранный множительной техники”, как будто все наши магазины набиты своими отечественными “ксероксами”. Заметим, что тезис об ускорении вообще почти исчез, и даже Михаил Сергеевич его больше не повторяет. Почему? Да потому, что средств ускорения нет, и ксерокс — одно из них. Так что вместо бдительного тезиса Василия Ивановича Белова, примерно такого: “Каждый ксерокс — на заметку” предлагаю тезис: “Каждому советскому человеку — личный ксерокс”. Может быть, ксерокс поможет и Василию Ивановичу в его писательской работе. (Аплодисменты.)

Я заканчиваю, товарищи, у меня еще есть три минуты. Предлагаю открыть являющуюся органом Съезда Советов постоянную всесоюзную газету “Голос депутата” с неограниченной подпиской. Поручить эту газету беспартийному редактору, хотя бы ради уникального эксперимента.

Объявить конкурс на новый Гимн Советского Союза, ибо слова сегодняшнего безнадежно устарели.

Предлагаю следующие изменения в Закон о выборах: “Выборы должны быть всеобщие, равные, прямые, тайные. Никаких окружных собраний. Все одномандатные выборы, включая выборы Председателя Верховного Совета, будут впредь считаться недействительными. Все организации, включая партию, имеют право лишь выдвигать кандидатов. Право выбора остается за главной организацией — за народом”.

Товарищи! Почему мы выиграли Великую Отечественную войну? Потому что у всех нас было и желание общей победы, и чувство общего врага. Не будем искать сейчас врагов друг в друге, ибо у всех нас общие враги — это угроза ядерной войны, страшные стихийные бедствия, национальные конфликты, экономический кризис, экологические беды, бюрократическая трясина.

Перестройка — это не только наша духовная революция, это наша вторая Великая Отечественная война. Мы не имеем права не победить в ней, но эта победа не должна нам стоить человеческих жертв. Спасибо. (Аплодисменты.)

ПОЧЕРК, ПОХОЖИЙ НА ЖУРАВЛЕЙ

I

Ахматова писала о Пастернаке так:

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

Великий художник только так и приходит в мир — наследником всего мира, его природы, его истории, его культуры. Но истинное величие состоит не только в том, чтобы унаследовать, а в том, чтобы разделить со всеми. Иначе самый высокообразованный человек превращается в бальзаковского Гобсека, пряча сокровища своих знаний от других. Для образованной посредственности обладание знаниями, которые он засекречивает внутри себя, — это наслаждение. Для гения обладание знаниями, которые он еще не разделил с другими, — мучение. Вдохновение дилетантов — это танцевальная эйфория кузнечиков. Вдохновение гения — это страдальческий труд родов музыки внутри самих себя, подвиг отдирания от плоти своего опыта, ставшего не только твоей душой, но и телом внутри твоего тела. Пастернак часто сравнивал поэзию с губкой, которая всасывает жизнь лишь для того, чтобы быть выжатой, как он выразался, “во здравие жадной бумаги”. В отличие от Маяковского, которого он сложно, но преданно любил, Пастернак считал, что поэт не должен вбивать свои стихи, свое имя в сознание читателей при помощи манифестов и публичного самодемонстрирования. Пастернак писал о роли поэта совсем по-другому: “Быть знаменитым — некрасиво”. “Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех других, как бы им в даренье”. “Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, и только в том моя победа”.

Тем не менее Пастернак, воспевающий подвиг “незамеченности”, стал в мире, пожалуй, самым знаменитым русским поэтом двадцатого века, превзойдя этим даже Маяковского. Почему же так случилось? Вся эта апология скромности не была далеко рассчитанной калькуля-

цией Пастернака, с тем чтобы самоуничижением, которое паче гордости, в конце концов выжать из человечества умиленное признание. Гениям не до скромности — они слишком заняты делами поважнее. Пастернак всегда знал себе цену как мастеру, но его больше интересовало само мастерство, чем массовые аплодисменты мастерству. Нобелевский комитет соизволил заметить Пастернака только в момент разгоравшегося политического скандала, а ведь Пастернак заслуживал самой высокой премии за поэзию еще в тридцатых годах. “Доктор Живаго” — вовсе не лучшее из того, что было написано Пастернаком, хотя роман и представляет собой этапное явление для истории русской и мировой литературы. Сложные, запутанные взаимоотношения Лары и Юрия Живаго, когда перипетии революции и гражданской войны то соединяли, то разъединяли их, в чем-то похожи на взаимоотношения Кати и Рощина в трилогии Алексея Толстого “Хождение по мукам”, законченной задолго до “Доктора Живаго” — в тридцатых годах. Но Толстой историю ставил выше истории любви, а Пастернак поставил историю любви выше истории, и в этом принципиальное различие не только двух романов, но и двух концепций. Французский композитор Морис Жарр, писавший музыку для фильма, уловил это, построив композицию на перекрещивании революционно-маршевых мелодий с темой любви — темой Лары, темой гармонии, побеждающей бури. Не случайно именно эта музыкальная тема на протяжении лет пятнадцати-двадцати стала самой популярной во всем мире, и ее играли везде, но анонимно лишь в Советском Союзе, где роман не был напечатан. Однажды, когда наше телевидение передавало чемпионат Европы по фигурному катанию и один из фигуристов начал кататься под мелодию Лары, югославский комментатор, зная прекрасно, что его голос транслируется в Советском Союзе, радостно воскликнул: “Исполняется мелодия из кинофильма “Доктор Живаго” по роману Бориса Пастернака...”, советские контрольные аппараты моментально выключили звук. Фигурист на экране кружился на льду в полной тишине. Было слегка смешно, но гораздо более — стыдно и грустно.

Произошло нечто парадоксальное. Пастернак, никогда не участвовавший ни в какой политической борьбе, оказался неожиданно для себя в самом ее центре. Впрочем, неожиданно ли? Он сам многое предугадывал, даже само-

предлагался, вызывая на себя пулю охотника от имени птицы и прося его: “Бей меня влет!” Он сам предсказал: “Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба!” Но, пожалуй, самым пророческим был монолог лейтенанта Шмидта из одноименной поэмы:

“...Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет грань
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью“.

Вот оно, высшее христианство, — даже на распятии понять, что твои палачи — это тоже жертвы. Пастернак оказался действительно избранником истории, поставив историю любви выше истории как таковой. Мученикам догмата это показалось контрреволюцией. Им, привыкшим к теории и практике превращения людей лишь в винтики государственной машины, не могла не быть опасно чужда, как разрушительная ересь, апология не государства, а человеческой души. Им не хватило терпимости, драгоценного умения понять, что первоначальные идеалы социализма и заключались в том, что они ставили интересы человека выше интересов государства как машины. Иначе — история будет развиваться по Оруэллу. История как таковая справедлива только тогда, когда она не разрушает истории любви. Сказанное Пастернаком в конце пятидесятых годов казалось опасной ересью. Сегодня, когда даже государственные деятели в своих речах ставят “человеческий фактор” выше интересов государства, бывшая ересь практически находится на пути к канонизации. Но надо еще подождать говорить о результатах, ибо в истории немало примеров, когда словесная канонизация нравственных постулатов нарушалась ежедневно теми, кто эти постулаты проповедовал. Пастернак, не будучи политиком, инстинктивно почувствовал необходимость предстоящего политического перелома и действительно стал пограничным столбом на границе двух разных эпох истории. Скандал вокруг романа, притом что

он нанес страшный моральный и физический удар самому Пастернаку, оказался по подлой иронии судьбы великолепной рекламой на Западе и сделал давно существующего великого поэта наконец-то видимым и в подслеповатых глазах Нобелевского комитета, и в глазах так называемых “массовых читателей”.

Но означает ли это, что Пастернак был понят на Западе как великий поэт? Почувствован — может быть, но понят — навряд ли. Даже роман многие не поняли — слишком якобы сложен, а киноверсия при великолепной музыке и прекрасной игре Джули Кристи была все-таки сентиментализирована, упрощена, и восточный красавчик Омар Шариф слишком рахатлукумен для того, чтобы стать русским предреволюционным интеллигентом доктором Живаго, воспитанным на Толстом, Достоевском, Чехове. Поэзия Пастернака, как и вообще любая поэзия, почти непереводаима, но у нас все-таки остается это спасительное крошечное “почти”. Для того чтобы понять корни поэтики Пастернака, необходимо обратиться к его биографии — и семейной, и литературной.

2

Борис Пастернак родился в семье художника Леонида Пастернака, личности, близкой к таким крупнейшим фигурам русской интеллигенции, как Толстой, Рахманинов, Менделеев. Интеллигентность здесь не была заемной, а являлась самим воздухом семьи. Пастернак в ранней молодости выбирал между музыкой и поэзией. Он выбрал, к счастью для нас всех, второе, когда его идол — Скрябин, прослушав музыкальные сочинения юноши, “поддержал, открыл, благословил”. Может быть, Пастернаку не хватило противодействия. Пастернак выбрал образование философское, а профессию — литературную, учился в Марбурге. Безусловно, огромное влияние на Пастернака оказала поэзия Райнера Мария Рильке. Это особенно легко понять, когда читаешь несколько стихов Рильке, написанных им по-русски, с очаровательными грамматическими и лексическими неправильностями, но тем не менее очень талантливо и с явным, как бы пастернаковским, акцентом. Можно легко догадаться, что многое из Рильке на немецком стало пастернаковским. Но Пастернак, несмотря на то, что впитал столько из западной

культуры, западником не был никогда. Он написал однажды даже слишком категоричные строки: “Уходит с Запада душа — ей нечего там делать”. Пастернак вслед за Пушкиным был одновременно и западником, и в каком-то смысле славянофилом, возвышаясь и над имитацией западной культуры, и над русским ограниченным национализмом. Сам Пастернак в конце жизни критиковал свои первоначальные поэтические опыты, ставя их ниже последних стихов, но не думаю, что он был прав. Писателям вообще свойственно любить свои самые последние произведения, хотя бы за счет кокетливого унижения предыдущих.

Пастернак прожил долго, и его поэтика мужала и менялась вместе с ним. Восстание против академического классицизма в начале XX века происходило в России везде — и в живописи, и в музыке, и в поэзии. Молодой Пастернак даже примкнул тогда к футуристам, которых возглавлял Маяковский. Маяковский называл гениальным пастернаковское четверостишие:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
как трагик в провинции драму Шекспирову,
носил я с собою и знал назубок,
шатался по городу и репетировал.

Но это, видимо, нравилось Маяковскому потому, что было похоже на самого Маяковского. В раннем периоде у двух этих великих — хотя совершенно противоположных — поэтов было некоторое сходство, но потом оно исчезло. Они, по выражению Уолта Уитмена, соединились на мгновение, как орлы в полете, и продолжали свой путь уже совершенно отдельно. Пастернак, по собственному признанию, даже спровоцировал ссору, чтобы расстаться, на что они оба были заранее обречены. Но, пожалуй, никто так не любил, не жалел Маяковского, как Пастернак. Именно Пастернак написал о самоубийстве Маяковского такие строки:

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.

А гораздо позднее в своих автобиографических заметках Пастернак дал точный анализ того, что посмертная похвала Сталина Маяковскому — “Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской

эпохи“ — была для репутации Маяковского не спасительной, как это тогда казалось, а убийственной. “Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью“, — писал Пастернак. Это совпадало с горькой мыслью, высказанной Пастернаком о смерти Ленина:

Я думал о происхожденье
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Сам Пастернак, начав с бунта формы против классицистов и доходя в концентрированности метафор иногда до почти полной непонятости, постепенно опразрачивался и с годами пришел к хрустально-чистому, профильтрованному стиху. Но это была подлинная классика, которая всегда выше реминисцентного классицизма. Позднее стихи Пастернака потеряли в плотности, но зато выиграли в чистоте, в отсутствии лишнего. У стиха Пастернака поразительное слияние двух начал — физиологического и духовного. Философия его поэзии не умственно выработанная, а “выбормотанная“. Но, конечно, за этим кажущимся импровизированным полубредом была огромная человеческая культура. Бред высочайше образованного, тончайше чувствующего человека будет совсем другим, чем бред диктатора или бюрократа.

Пантеизм Пастернака включал в себя и женщину как высшую материнскую силу природы. После Пушкина, пожалуй, никто так не чувствовал женщину, как Пастернак:

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей — не боле...

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Эротику Пастернак поднимал на уровень религиозно-

го поклонения, на уровень великого языческого фатума:

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

Стих Пастернака обладает поразительно скрупулезным стереоскопическим эффектом, когда кажется, что прямо из страницы высовывается ветка сирени, отяжеленная влажными лиловыми цветами, в которых возятся золотые пчелы:

Душистою веткою машучи,
Впивая впотъмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.
Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, их две еще,
Целующихся и пьющих.

3

Я никогда не надеялся познакомиться с Пастернаком, ибо считаю, что Его Величество Случай должен сам соединять людей. Читая его стихи с детства, что, честно говоря, не было типично для советских мальчиков сталинского времени, никаких встреч я не искал.

Году в пятидесятом Пастернак должен был читать в ЦДЛ свой перевод "Фауста". Вокруг поэзии была тогда некая особая приглушенность, и никакого столпотворения и конной милиции не было. Дубовый зал был полон, но отнюдь не переполнен, и мне, семнадцатилетнему начинающему поэту, все-таки удалось туда проникнуть. Устроители нервничали: Пастернак опаздывал. Положив свою шапку со стихами внутри на галерочное место, я спустился вниз в вестибюль с тайной надеждой увидеть Пастернака поближе. Его почему-то никто не ожидал в вестибюле, и, когда распахнулась вторая дверь и он вошел, кроме меня, перед ним никого не оказалось. Он спросил меня нараспев и чуть виновато улыбаясь: "Скажите, пожалуйста, а где тут состоится вечер Пастернака? Я, кажется, опоздал..." Я растерялся, потеряв дар речи.

На счастье, из-за моей спины выскочил кто-то из устроителей, стал помогать ему снимать пальто. Пальто Пастернака меня поразило, потому что точно такое же, коричневое в елочку, с запасной пуговицей на внутреннем кармане, недавно купил мой покровитель, заведующий отделом из газеты "Советский спорт" Н. Тарасов. Пальто, правда, было итальянским, что по тем временам было редкостью, но купил он его в самом обыкновенном Мосторге за 700 старых рублей, и уже несколько таких пальто мне попадались на улицах. Не знаю, как мне представлялось, во что должен быть одет Пастернак, но только не в то, во что может быть одет кто-нибудь другой. Но самое удивительное на нем было даже не пальто, а кепка — серенькая, с беленькими пупырышками, из грубоватого набивного букле, стоявшая тридцатку и мелькавшая тогда на десятках тысяч голов в еще не успешней приодеться после войны Москве. Но, несмотря на полную, обескуражившую меня обыкновенность в одежде, которой я по неразумию не мог предположить у настоящего, живого гения, Пастернак был поистине необыкновенен в каждом своем движении, когда он, входя, грациозно целовал кому-то ручку, кланялся с какой-то, только ему принадлежащей несколько игривой учтивостью. От этой безыскусственной врожденной легкости движений, незнакомых мне прежде в моем грубоватом невоспитанном детстве, веяло воздухом совсем другой эпохи, чудом сохранившейся среди социальных потрясений и войн. Только сейчас, когда сквозь все более нарастающую даль я восстанавливаю в памяти это всплескивание руками, эту непринужденность поворотов, это немножко озорное посверкивание радостных и осторожных глаз, эту ненапряженную игру лицевых мускулов смуглого лица, мне почему-то кажется, что так же легко и порывисто двигался по жизни Пушкин, окруженный особенным воздухом.

Когда Пастернак стал читать свой перевод "Фауста", я буквально был заморожен его чуть поющим голосом. Но самому Пастернаку собственное чтение не очень, видимо, нравилось, и где-то на середине он вдруг хлопнул рукопись и беспомощно и жалобно обратился к залу: "Извините, ради бога, я совсем не могу читать. Все это глупость какая-то". Может быть, это было легким кокетством, свойственным Пастернаку, ибо зал зааплодировал, прося его продолжать. В зале, кутая плечи в белый пу-

ховой платок, сидела красавица Ольга Ивинская — любовь Пастернака, ставшая прообразом Лары. Я ее хорошо знал, потому что еще с 1947 года ходил к ней на литературную консультацию в журнал “Новый мир“, а ее близкая подруга — Люся Попова руководила пионерской литературной студией, где я занимался. Но о любви Пастернака и Ивинской я узнал гораздо позже. Когда Пастернак стал читать, мне сразу запомнились навсегда строчки Пастернака из его перевода “Фауста“:

Искусственному замкнутость нужна,
Природному вселенная тесна.

Многочисленные пародии и шаржи тех лет изображали Пастернака только как замкнувшегося в самом себе сфинкса, в статьях главным образом цитировались его ранние, написанные явно с улыбкой строчки:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

С той поры и навсегда Пастернак казался мне частью природы, гармонично движущейся внутри себя. Прошло несколько лет. Два молодых поэта из Литинститута, где я учился тогда, — Ваня и Юра — постоянно ходили к нему на дачу, читали ему свои стихи, подкармливаясь у него, и не раз передавали Белле Ахмадулиной и мне приглашение зайти. Белла возмущалась тем, что эти два молодых поэта нередко в студенческой компании небрежно называли Пастернака “Боря“, и тем, что они, судя по их рассказам, отнимают у Пастернака столько времени. Она только однажды столкнулась с Пастернаком на тропинке, но так и не заговорила с ним.

Однажды мне позвонили из иностранной комиссии Союза писателей и попросили сопровождать итальянского профессора Анжело Мария Риппелино на дачу к Пастернаку. Я сказал, что незнаком с Пастернаком и не могу этого сделать. Мне объяснили, что неловко, если Риппелино поедет куда-то за город без провожатого. “Но он же прекрасно говорит по-русски“, — ответил я. Тогда мне объяснили, что я не понимаю самых простых вещей. “Попросите кого-нибудь другого, кто знает Пастернака“, — ответил я. “Но что же делать, если сам Риппелино согласился поехать к Пастернаку только с вами“, — застонал в трубке страдающий голос. Пришлось

поехать без предупреждения. Из глубины сада, откуда-то из-за дерева, неожиданно вышел все такой же смуглый, но уже совсем седоголовый Пастернак в белом холщовом пиджаке. “Здравствуйте”, — произнес он, как и раньше, чуть нараспев, глядя на меня своими удивленными и в то же время ничему не удивляющимися глазами. И вдруг, не выпуская моей руки из своей, улыбаясь, сказал: “Я знаю, кто вы. Вы — Евтушенко. Да, да, именно таким я вас и представлял — худой, длинный и притворяющийся, что не застенчивый... Я все про вас знаю — и то, что вы в Литинституте лекции нерегулярно посещаете, и всякое такое... А это кто за вами идет? Грузинский поэт? Я очень люблю грузин...” Я объяснил, что это вовсе не грузинский поэт, а итальянский профессор Риппелино, и представил его. “Ну и очень хорошо. Итальянцев я тоже люблю. А вы в самое время пришли — у нас как раз обед. Ну пошли, пошли — вам, наверное, есть хочется”. И сразу стало просто и легко, и мы вскоре сидели вместе за столом, ели цыпленка и пили вино.

Несмотря на то что тогда Пастернаку было уже за шестьдесят, ему нельзя было дать больше пятидесяти. Весь его облик дышал какой-то удивительной искристой свежестью, как только что срезанный букет сирени, еще хранящий на лепестках переливающуюся садовую росу. Он был весь каким-то переливающимся — от всплескивающих то и дело рук до удивительной белозубой улыбки, озарявшей его подвижное лицо. Он немножко играл. Но когда-то он написал о Мейерхольде:

Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.

Это относилось и к нему самому. И в то же время мне приходят на память другие строчки Пастернака:

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река...

Действительно, сколько надо было иметь в себе природной душевной отваги, чтобы сохранить умение так улыбаться! И это умение, наверное, было его защитой. Пастернак действовал на людей, общавшихся с ним, не как человек, а как запах, как свет, как шелест. Он, сме-

ясь, рассказывал: “Ну и случай у меня сегодня был. Приходит ко мне один знакомый кровельщик, вытаскивает из кармана четвертинку, кусок колбасы и говорит: “Я тебе крышу крыл, а не знал, кто ты. Так вот добрые люди сказали, что ты за правду. Давай выпьем по этому случаю!” Выпили. Потом кровельщик мне и говорит: “Веди!” Я его сначала не понял: “Куда это тебя вести?” “За правду, — говорит, — веди“. А я никого никуда вести и не собирался. Поэт — это ведь просто дерево, которое шумит и шумит, но никого никуда вести не предполагает...” И, рассказывая это, косил глазами на слушателей и лукаво спрашивал ими: “Как вы думаете, правда это или неправда, что поэт — это только дерево, которое никого никуда вести не предполагает?” Кто-то когда-то написал, что Пастернак был похож одновременно на араба и на его коня. Это удивительно точно. Потом Пастернак прочел стихи, немного раскачивая головой из стороны в сторону и растягивая слова. Это была недавно написанная “Вакханалия“. При строчках:

Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда, —

он озорно посмотрел на свою жену, нервно теребящую край скатерти, и как-то весело вздохнул от сознания своей школы молодости, где-то еще бродившей в нем.

Пастернак попросил меня прочитать стихи. Я прочел самое мое лучшее стихотворение того времени — “Свадьбы“. Однако оно Пастернака почему-то оставило равнодушным — видимо, он не почувствовал внутренней второй темы и оно показалось ему сибирской этнографией. Но Пастернак был человек доброй души и попросил прочесть что-нибудь еще. Я прочел стихи “Пролог“, которые ругали даже мои самые близкие друзья:

Я разный —
 я натруженный и праздный.
Я целе-
 и нецелесообразный.
Я весь несовместимый,
 неудобный,
Застенчивый и наглый,
 злой и добрый.

Пастернак неожиданно пришел в восторг, вскочил с места, обнял меня, поцеловал: “Сколько в вас силы, энергии, молодости!..” — и потребовал, чтобы я прочел еще. Я думаю, что только моя энергия и молодость ему и понравились, а не сами стихи. Но он мне дал шанс. Я прочел только что написанное “Одиночество”, начинавшееся так:

Как стыдно одному ходить
в кинотеатры,
без друга, без подруги, без жены...

Пастернак посерьезнел, в глазах у него были слезы: “Это про всех нас — и про вас, и про меня...”

Ушел и Риппелино, и все другие гости, и была глубокая ночь. Мы остались вдвоем с Пастернаком и долго говорили, а вот о чем — проклятие! — вспомнить не могу. Помню только, что я должен был утром улетать в Тбилиси и Пастернак часам к 5 утра захотел полететь вместе со мной. Но тут появилась уже, казалось, ушедшая спать Зинаида Николаевна и грозно сказала:

— Вы — убийца Бориса Леонидовича. Мало того, что вы его спаиваете целую ночь, вы еще хотите его умыкнуть... Не забывайте того, сколько ему лет и сколько вам.

Я потихоньку смылся от ее справедливого гнева, неожиданно для себя самого проведя в доме великого поэта время с 11 часов утра до 5 часов утра следующего дня — 18 часов!

Пастернак вскоре дал мне прочесть рукопись “Доктора Живаго”, но на преступно малый срок — всего на ночь. Роман меня тогда разочаровал. Мы, молодые писатели послесталинского времени, увлекались тогда рублевой, так называемой “мужской” прозой Хемингуэя, романом Ремарка “Три товарища”, “Над пропастью во ржи” Сэлинджера. “Доктор Живаго” показался мне тогда слишком традиционным и даже скучным. Я не прочел роман — я его перелистал. Когда утром я отдавал роман Пастернаку, он пытливо спросил меня:

— Ну как?

Я как можно вежливей ответил:

— Мне нравятся больше ваши стихи.

Пастернак заметно расстроился и взял с меня слово когда-нибудь прочесть роман не спеша.

В 1966 году, после смерти Пастернака, я взял с собой

иностранный издатель "Доктора Живаго" в путешествие по сибирской реке Лене и впервые его прочитал. Я лежал на узкой матросской койке, и, когда я переводил глаза со страниц на медленно проплывающую в окне сибирскую природу и снова с природы на книгу, между книгой и природой не было границы.

В 1972 году в США Лилиан Хелман, Джон Чивер и несколько моих друзей почему-то затеяли спор, какой роман самый значительный в XX веке, и все мы в конце концов сошлись на "Докторе Живаго". Да, в нем есть несовершенство — слаб эпизод, автор слишком наивно организует встречи своих героев. Но этот роман — роман нравственного перелома двадцатого века, роман, поставивший историю человеческих чувств выше истории как таковой. Но когда я читал роман впервые, мне и в голову не пришло, что с ним может случиться. Начался трагический скандал с романом. Роман запретили в СССР, хотели остановить его печатание в Италии. Пастернак кое-что предвидел. Фельтринелли рассказывал мне, что у него была договоренность с Пастернаком верить только телеграммам и письмам, написанным по-французски. Пастернак прислал телеграмму с просьбой остановить печатание романа, но телеграмма была написана по-русски латинскими буквами. Роман вышел во всем мире. Некоторые западные газеты печатали рецензии с провокационными заголовками типа "Бомба против коммунизма". Такие вырезки услужливые бюрократы, разумеется, клали на стол Хрущева. После Нобелевской премии скандал разгорелся еще сильнее. Советские газеты выходили с так называемыми "письмами трудящихся", которые начинались примерно так: "Я романа "Доктор Живаго" не читал, но им предельно возмущен". Секретарь ЦК комсомола, будущий руководитель КГБ Семичастный потребовал выбросить Пастернака "из нашего советского огорода". Меня вызвал к себе тогдашний секретарь парткома московских писателей и предложил на предстоящем собрании осудить от имени молодежи Пастернака. Я отказался. Секретарь парткома заставил меня поехать к секретарю Московского комитета комсомола и начал меня снова уговаривать в его присутствии. Я снова отказался, сказав, что считаю Пастернака великим поэтом и что он никакой не контрреволюционер. В. Солоухин сейчас утверждает, что отказаться было якобы невозможно. Отказаться от предательства всегда возможно. Снежный ком все нарастал. Неожиданным ударом для многих и меня было то, что

на собрании против Пастернака выступили два крупных поэта — Мартынов и Слуцкий.

После этого — единственного в своей безукоризненно честной жизни — предательского поступка Слуцкий впал в депрессию и вскоре ушел в одиночество, а затем и в смерть. И у Мартынова — и у него была ложная идея спасения прогрессивной интеллигенции в период “оттепели”, отделив левую интеллигенцию от Пастернака. Но само “дело” Пастернака было страшным ударом по “оттепели”. Пожертвовав Пастернаком, они пожертвовали самой “оттепелью”. Через несколько лет после смерти Пастернака Хрущев рассказал Эренбургу, что, будучи на острове Бриони в гостях у маршала Тито, он впервые прочитал полный текст “Доктора Живаго” по-русски и с изумлением не нашел ничего контрреволюционного. “Меня обманули Сурков и Поликарпов”, — сказал Хрущев. “Почему же тогда не напечатать этот роман?” — радостно спросил Эренбург. “Против романа запустили всю пропагандистскую машину, — вздохнул Хрущев. — Все еще слишком свежо в памяти... Дайте немножко времени — напечатаем...” Хрущев не успел это сделать, а Брежнев не решился.

Однако вернемся туда, в год скандала, ко времени моей последней встречи с Пастернаком в 1960 году. Я боялся быть бестактным сочувствователем, зайдя к Пастернаку без приглашения. Межиров подсказал мне, что Пастернак, наверное, появится на концерте Станислава Нейгауза. Мы поехали в консерваторию и действительно увидели Пастернака в фойе. Он заметил нас издали, все понял, сам подошел и, стараясь быть, как всегда, веселым, сразу обогрел добрыми словами, какими-то незаслуженными комплиментами, цитатами из нас и пригласил. Я вскоре приехал к нему на дачу. Из Пастернака по-прежнему исходил свет, но теперь уже не утренний, а какой-то вечерний. “А знаете, — сказал Пастернак, — у меня только что были Ваня и Юра. Они сказали сейчас, что кто-то собирает подписи под петицией студентов Литературного института с просьбой выслать меня за границу... Ване и Юре пригрозили, что, если они этого не сделают, их исключат и из комсомола, и из института. Они сказали, что пришли посоветоваться со мной — как им быть. Я, конечно, сказал им так: “Подпишите, какое это имеет значение... Мне все равно ничем не поможете, а себе повредите...” Я им разрешил предать меня. Получив

это разрешение, они ушли. Тогда я подошел к окну своей террасы и посмотрел им вслед. И вдруг я увидел, что они бегут, как дети, взявшись за руки и подпрыгивая от радости. Знаете, люди нашего поколения тоже часто оказывались слабыми и иногда, к сожалению, тоже предавали... Но все-таки мы при этом никогда не подпрыгивали от радости. Это как-то не полагалось, считалось неприличным... А жаль этих двух мальчиков. В них было столько чистого, провинциального... Но боюсь, что теперь из них не получится поэтов...

Пастернак оказался прав — из них поэтов не получилось.

Поэзия не прощает. Предательство других людей становится предательством самого себя.

Расставаясь, Пастернак сказал:

— Я хочу дать вам один совет. Никогда не предсказывайте свою трагическую смерть в стихах, ибо сила слова такова, что она самовнушением приведет вас к предсказанной гибели. Вспомните хотя бы, как неосторожны были со своими самопредсказаниями Есенин и Маяковский, впоследствии кончившие петлей и пулей. Я дожил до своих лет только потому, что избегал самопредсказаний...

Надпись, которую Пастернак сделал мне на книге в день первого знакомства 3 мая 1959 года, звучит так:

“Дорогой Женя, Евгений Александрович. Вы сегодня читали у нас и трогали меня и многих собравшихся до слез доказательствами своего таланта. Я уверен в Вашем светлом будущем. Желаю Вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у Вас в окончательных исчерпывающих формах и освобождало место для последующих замыслов. Растите и развивайтесь.

Б.Пастернак“.

Кажется, Цветаева заметила, что почерк Пастернака был похож на летящих журавлей.

Рано ушедший критик В. Барлас, когда-то открывший мне многое о Пастернаке, писал: “Многие остаются живыми чересчур долго... Но они выигрывают только годы лжи и страха...”

Пастернак тоже не всегда вступал в прямое противоборство с ложью. Пастернак тоже боялся. Но он переступил через свой страх, который мог стать ложью, и, умерев, он выиграл дарованные его журавлям долгие годы полета.

1962 — 1989 гг.

ЕВАНГЕЛИЕ “ОТ ПАЗОЛИНИ”

Можно ли быть итальянцем, не имея в истории Древнего Рима генетически закодированного двойника? Я иногда невольно вздрагивал, видя монетный профиль императора Веспасиана у официанта, ставящего на стол в траптории жареные тыквенные цветы, или замечая тяжелую походную поступь легионера у идущего по набережной Тибра одинокого старика с черным зонтиком.

Если у Пьера Паоло Пазолини был двойник в римской истории, то он наверняка был христианином из катакомб. Лицо Пазолини было испито-бледным, словно после долгого пребывания без дневного света в подземелье, а в закоулках скул попеременно играли то тени, то блики от невидимых факелов. “Когда родился Христос, перестало биться сердце Рима. Организм монархии был так огромен, что потребовались века, чтобы все члены этого тела перестали судорожно двигаться: на периферии почти никто не знал о том, что совершилось в центре. Знали об этом только люди в катакомбах”, — так писал об этом времени Блок.

Пазолиневский Христос из фильма “Евангелие от Матфея” — это заговорщик из подземелья, мятежник, изгоняющий торгашей из храма, а не сентиментальный всепрощенец, подставляющий под удары то одну щеку, то другую. В роли матери Христа Пазолини не случайно снял собственную мать. У Пазолини не было никого ближе Христа, но Христа еще не канонизированного, не превращенного в предмет всемирной коммерции гвоздями, вытасненными из ладоней. Пазолини когда-то предложил эту роль мне, исходя не из физической фактуры, не из моих актерских способностей. Опальный молодой поэт, выкрикивающий свои проповеди на аренах русских коллизеев, был для Пазолини символом новой зарождающейся надежды, вышедшей из катакомб на развалины распадающейся сталинской империи. Когда наши власти не разрешили мне сняться в роли Христа, Пазолини пригласил на эту роль левого испанского студента и на его гневные разоблачительные речи наложилась ненависть к франкизму. По Евангелию “от Пазолини”, Христос был рассыпан по тысячам униженных и оскорбленных людей, и каждый раз его распинали вместе с ними, и каждый раз он воск-

ресал, когда нравственно воскресали они, восставая против несправедливости. Пазолини отдал много сил политике, но разочаровался в ней, ибо с грустью видел, что многие заговоры против несправедливости превращаются просто в заговоры. Книга римского историка I века до н.э. Саллюстия “Заговор Катилины” для своего времени была чем-то похожа на “Бесов” Достоевского. Катилина был древнеримским Петенькой Верховенским, подбивающим других людей на убийства во имя так называемой “высшей справедливости”. Сначала падают нравы, а потом колонны империй. Историк так описывал этот упадок нравов: “Честолюбие многих сделало лжецами, заставило в сердце таить одно, вслух же говорить другое... Начиналось все с малого, иногда встречало отпор, но затем зараза расплодилось, как чума, народ переменялся в целом...”

Пазолини всю жизнь сражался с двумя призраками — с призраком Римской империи и с призраком Катилины — заговорщиками против несправедливости, несущим новую несправедливость.

Призрак Катилины отомстил ему, подослав торговавшего своим телом мальчишку, который убил Пазолини на мрачном ночном пустыре.

В характере Пазолини была обреченность на трагическую гибель — он сам всю жизнь искал ее. В 1964 году он водил меня по таким “кабириевским” трущобам, что лишь чудо спасло и его, и меня. Почему его так тянуло к тем, кого Этторе Скола назвал “некрасивые, грязные, плохие...”? Потому что катакомбное христианство Пазолини начиналось с принятия на себя вины за всех безвинно виноватых. Некоторые насмешливо считают такую “всевиноватость” интеллигентским комплексом, а, по моему, это и есть христианство. Пазолини любил трущобы еще и потому, что жизнь трущоб была лишена лицемерной риторики.

Отвращение к риторике пришло после милитаристского ораторства Маринетти и других итальянских футуристов, после площадных мелодекламаций д.Аннунцио во время фашизма, после балконного мессианства Муссолини. Маленький Бруно из “Похитителей велосипедов” Де Сики, ныне держащий за руку отца на итальянских почтовых марках, когда-то был Гаврошем восстания против риторики. Но великая эра неореализма прошла. Дерево

итальянского кинематографа, казалось, начало безнадежно усыхать, но вдруг выбросило три мощных ветви — Феллини, Пазолини, Бертолуччи. Это было блудное дитя неореализма — метафорическое кино, визуальная поэзия, бесстрашно рифмующая высокий и низкий штиль, лирическая исповедь, смешанная с рваной эпикой.

Все они были очень разные. Феллини — это существо ренессансное, сангвиническое, волшебник-повар. Бертолуччи — великий комбинатор, меланхоличный хулиган, насмешливый ремесленник. Пазолини — самый незащищенный из этой троицы, не ставший, а родившийся несчастным. У него лермонтовское безрадостно-одинокое мироощущение, роднящее Пазолини с Тарковским. Даже когда в “Тысячи и одной ночи” Пазолини переходит к узорчатой, почти параджановской живописи, то на всех ярких цветовых пятнах лежит тень трагической судьбы. Показывая в фильме “Сало” содом и гоморру, устроенные фашистскими провинциальными катилинами, Пазолини превращает это отвратительное зрелище в авторский садомазохизм, похожий на глубокую терзавшую его душевную болезнь. Сквозь гомерический средневековый готт “Кентерберийских историй” с экрана слышится сдавленный плач заэкранного одинокого человека.

Пазолини начинал как поэт. Его перу принадлежат высочайшие гражданские шедевры “Плач экскаватора”, “Пепел Грамши”. Но поэзия в Европе — Золушка. В поисках массовой аудитории Пазолини обратился к экрану. Но экран жесток и требует жертвоприношений. Даже восстание против коммерции экран превращает в коммерцию. Нравы киноимперии не менее кровавы, чем в Римской империи. Но Пазолини и в киноимперии остался катакомбным христианином.

Фед писал в басне “Две сумы”:

Взваливал Юпитер на людей по две сумы:

Свои пороки — за спиной у каждого,

А чужих пороков груз подвешен спереди.

Вот мы и не видим прегрешений собственных,
зато чужим — всегда мы судьи строгие.

При жизни у Пазолини было множество судей, осуждавших его за существующие и несуществующие пороки. Но у него никогда не было самого страшного порока — презрения к людям. Пазолини не возненавидел лю-

дей за собственную несчастьность.

Но талант — это не преодоление несчастьности.

Талант — это осознание того, что счастье само по себе — не единственное счастье в жизни.

Таково Евангелие “от Пазолини”.

1989

БОБ РАУШЕНБЕРГ И ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

В 1925 году в американском провинциальном городке Порт-Артур, штат Техас, родился мальчик, которого родители назвали Мильтоном, а сам будущий знаменитый художник позже назвал себя Бобом. В его жилах был причудливый американский коктейль — немецкая рассудительная кровь с бунтарской кровью индейцев племени чероки. Если вы приглядитесь к его живописи, то увидите, что свои картины он пишет именно этим коктейлем, ибо расчетливость аналитика сочетается в нем с буйством индейца, вставшего на тропу войны с регулярной армией производителей скуки.

В 1942 году, поступив на фармацевтические курсы при университете Техаса в Аустине, семнадцатилетний Боб был исключен за то, что отказался препарировать живую лягушку в классе анатомии. Кто знает, может быть, он увидел в ней потаенную царевну и пожалел ее, и именно это поэтическое воображение сделало его художником. Многие его картины как будто нарисованы не на холстах, а на сброшенной коже лягушки, превратившейся в прекрасную царевну. Есть художники, препарирующие действительность, как лягушку, разрезающие своим ловким и жестким скальпелем на части живое тело жизни. Но есть другой тип художников — рассеченную, искромсанную жизнь они собирают воедино, склеивают ее по кусочкам, как разбитый чьими-то варварскими руками старинный прекрасный сосуд. Раушенберг принадлежит именно к этим склеивателям разбитого. Одна из статей о нем точно называлась “Из мириада материалов мастер творит мир”. Сам художник так говорит о понимании задач искусства, которые выработались у него с юности: “В моем самом наивном периоде, в моей первой нью-йоркской студии меня всегда раздражали те художники, которые воображали, что мастерская — это какое-то специальное место, где они защищены от внешнего мира. Я всегда хотел, чтобы помимо работы они выглядели больше как внешний мир, чем мир, замкнутый четырьмя стенами. Моя дверь была всегда открыта, телевизор был всегда включен, и окна были всегда распахнуты.”

Спасенная мальчиком Раушенбергом от вивисекции царевна-лягушка спасла его от скуки ремесленничества.

ва — она подарила ему вечное детство, оставив его навсегда мальчишкой. Раушенберг стал визуальным сказочником, не уставая играть, изобретать, выдумывать. По неистощимости фантазии его можно сравнить в двадцатом веке, пожалуй, только с Пикассо.

Он перепрыгнул занудство механического конвейерного производства, позволив себе роскошь понимания искусства как детской игры. Остаться ребенком в мире цинизма — это героический подвиг. Он плещется, как голое дитя, в радужном океане красок, и поднятые его озорными ладошками брызги — это и есть неуловимая феерия его стиля. Один из китайских студентов Главной Академии Искусств сказал после выставки Раушенберга в Пекине в 1985 году: “Сначала мы устали спрашивать снова и снова — что означает то или иное на его картинах... Затем мы просто начали наслаждаться живописью...” Крупнейший поэт испанского языка Октавио Пас посвятил Раушенбергу поэму “Ветер, называющийся Боб Раушенберг”. Многие его скульптуры — это ветряные мельницы,двигающиеся от ветра его энергии, но он сам — Дон Кихот с копьём. Вместе со своими товарищами — Джексоном Поллоком, Арчилом Горки — Боб, бывший хулиган, “инфант террибль” американской живописи, ныне стал общепризнанным классиком. После недавно ушедших таких гигантских фигур, как Пикассо, Макс Эрнст, Генри Мур, Марк Шагал, все, что сделано Раушенбергом, выросло по своему значению в образовавшемся вакууме. Величину таланта поэта нередко можно определить по одному признаку: если на стиль поэта легко писать пародию, только тогда он самостоятелен. Величину таланта художника можно определить по узнаваемости стиля его картин даже с дальней дистанции. У некоторых художников (Ив Танги, де Кирико, Фонтана) узнаваемость работ происходит благодаря единообразию. Но Пикассо, например, несмотря на все его разные периоды, узнаваем за километр. Таких легко узнаваемых, но в то же время разнообразных, все время меняющихся художников в сегодняшнем мире совсем мало. Раушенберг — один из них. Собственная детская влюбленность во все, что он делает, гипнотизирует и влюбляет в него других. Вот как он пишет об этом:

“У меня есть некоторые коллеги, которые относятся к искусству так, что они должны это делать профессио-

нально и все. Я знаю некоторых выдающихся художников, которые в частной жизни признаются, что их работа для них — это скука, но это все-таки их работа или еще нечто. Я никогда не бываю счастливее, чем тогда, когда я работаю, и это все усугубляется. Я думаю, что я успокоюсь когда-нибудь, но кажется, что чем больше я делаю, тем больше это выглядит так, что должен сделать еще больше!“

Раушенберг наслаждается всем — своим творчеством, являющимся чем-то средним между живописью, скульптурой и коллажами. Он обожает любые материалы, превращая их в слуг своих фантазий — краски, металлы, дерево, камень, мех, ткани, консервы, банки, автопокрышки. Он любит фотографию, и его неосуществленная мечта — снять Америку дюйм за дюймом. Он создал P.O.C.I — свою организацию и разбросал свои материализованные фантазии по многим странам — с невиданной щедростью человеческого общения. Думаю, если бы Маяковский был жив, они бы подружились с Раушенбергом и что-нибудь придумали бы сообща. Мало ли у кого на Земле всяких фантазий, но мало кто обладает талантом реализатора фантазий, как Раушенберг. И вот Раушенберг — в Москве.

Что это означает для него и для нас?

Раушенберг прошел не только суровую школу Альберса, одного из пионеров американского абстракционизма, о котором он писал так: “Альберс был прекрасный учитель и невозможная личность“. Возникновение Раушенберга и других сходных авангардистов XX века было, безусловно, генетически связано с великим русским авангардом, из которого ближе всего Раушенбергу, по-видимому, Кандинский. Таким образом, в каком-то смысле приезд Раушенберга в Россию — это возвращение к истокам. Для нас его выставка — это один из символов духовной перестройки нашего общества, когда те, в чьем ведении находятся выставочные залы, уже не могут закрыть их двери ни для Филонова под предлогом “искажения образа наших советских людей“, ни для Раушенберга под предлогом борьбы с “растлевающим влиянием Запада“.

Мы не имеем права отставать в познании всего нового, что делается на Западе в технологии и в искусстве. Иначе последствия будут катастрофические, и из бывшей

страны авангарда мы превратимся на долгие годы в арьергардную отсталую страну с ракетами, неестественно гиперболлизированными по сравнению со всем остальным. Профильтровав через себя все лучшее на Западе, что было отобрано у нас на долгие годы, мы, надеюсь, не станем на путь имитаторства, но зато и не будем изобретать деревянные велосипеды.

Западу тоже есть чему поучиться у нас — и в литературе, и в музыке, и в театре, и в кино, и в пластическом искусстве. Только мафиозность западного “маршанства” не позволяет нашим современным художникам попасть в постоянные экспозиции крупнейших музеев современного искусства. К сожалению, многие так называемые законодатели мод в искусстве пытаются искусственно разделить земной шар путем политической вивисекции на отдельные части, как лягушку. Но отдельных искусств не бывает. Мировое искусство, даже рассеченное на части, все равно волшебным образом срастается, как царевна-лягушка.

1989

МАЛЕНЬКОЕ, НО ТЯЖКОЕ ЗНАМЯ

Депутатский значок — это маленькое, но тяжелое знамя. Это маленькое знамя надавливает сквозь лацкан на сердце. Надавливает до боли, потому что на него надавливают тяжкие проблемы. Народный депутат — это человек, чья профессия — быть виноватым во всем. Даже если эта вина лично безвинная, ее все равно надо принимать как профессиональную ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. Прорвало в чьей-то квартире ржавые трубы? Ты ни при чем, но ты отвечаешь. Кандидат наук, сотрудница Харьковского НИИ избивает свою восьмидесятилетнюю мать, сживает ее со свету, пытается загнать в психушку, чтобы завладеть ее жилплощадью. Ты ни при чем, но ты отвечаешь.

Народный депутат — это последняя надежда всех потерявших надежду. Народный депутат может очень мало, но все думают, что он может все. Народный депутат, даже если он счастлив в личной жизни, — это несчастный от чужих несчастий человек. Несчастья становятся в нескончаемую очередь на депутатских приемах. Горы пропштемпелеванных несчастий — в письмах и телеграммах со всей страны. Из-за того, что физически не можешь всех лично принять, всем сразу помочь, с ужасом замечаешь, что из борца против бюрократии ты сам можешь стать в чьих-то глазах бюрократом. От невозможности исполнить все, чего от тебя ждут, становишься пессимистом. Но нельзя показывать избирателям свой пессимизм, ибо это может перейти в его невольное внушение.

Народный депутат в ответе за национальную рознь, доходящую от лингвистических до кровавых ольстеров. За женщин и детей, ложащихся на рельсы, чтобы поезда с продовольствием не пришли к другим женщинам и детям, только другой национальности. За недостаточную энергичность сил правопорядка, допускающих резню, и, наоборот, за чрезмерную энергичность этих сил, переходящую в бессмысленную карательную жестокость. За трагические социальные первопричины забастовок и за их разрушительные экономические последствия.

Как провести перегруженный балластом; весь в пробоинах корабль государства между Сциллой анархии и Харибдой военно-полицейской диктатуры? Как вырулить между рифами национальных и социальных амбиций?

Народные депутаты должны быть лоцманами государственного корабля. Капитан, если он вовремя не будет предупрежден лоцманами, может посадить корабль на мель. Лоцманы, сделавшие своей профессией поддакивание, а не предупреждение об опасностях, сами по себе представляют разрушительную опасность. Мы уже несколько раз во время перестройки крепко ударились о непредугаданные рифы. Почему? Потому что экономическое и политическое лоцманство у нас в зачаточном состоянии. Выдающийся гематолог А. Воробьев, работавший вместе с доктором Гейлом, пишет: "Мы пожинаем богатый урожай, посеянный диктатурой, когда и чины, и звания раздавались... кучкой малограмотных людей, убравших настоящих ученых... Именно поэтому аварийность у нас не является случайностью, она — закономерна" (Новый мир. № 3. 1989. — Е.Е.). Международная политика нашего государства за последние годы после риска доверия первых односторонних мораториев перешла в глобальную перестройку семейных взаимоотношений человечества. Заявленный примат общечеловеческих ценностей над классовый борьбой, вывод войск из Афганистана, осуждение (хотя и сильно запоздалое) нашего вторжения в 1968 году в Чехословакию восстановили утраченное доверие других государств к нашему, создали гарантию от возникновения мировой войны.

Мы решительно пошли на разрушение "образа врага", который создавали столько лет из американцев, и они ответили нам тем же. Казалось бы, в отвоеванных для экономики внешних условиях мы могли бы сделать революционные шаги и экономического внутреннего характера. Но тут явно "заело". КАК БЫ КОМПЕНСИРУЯ ОТСУТСТВИЕ "ОБРАЗА ВРАГА" ЗАРУБЕЖНОГО, МЫ ПОЗОРНО НАЧАЛИ ПРЕУСПЕВАТЬ В КОНСТРУИРОВАНИИ ЭТОГО ОБРАЗА ИЗ СОБСТВЕННЫХ СОТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЧВЕ. Все тело столь любимого мною Кавказа изуродовано, как прекрасное тело лермонтовской Бэлы, кинжальными ударами национальных розней.

Горестно слышать национальные взаимооскорбления, видеть национальный эгоизм, приводящий к возвышению собственного народа за счет унижения других. Недавно я оказался свидетелем беспрецедентного шовинистического шабаша "Памяти" на Красной площади. Хватит лепить

“образ врага“ из евреев — их и без того осталось совсем немного, и нам угрожает трагическая утечка крупных ученых, инженеров, врачей, музыкантов, если мы не гарантируем им безопасность от бесконечных, никем не останавливаемых оскорблений. Настало время, когда Центральный Комитет СССР и Верховный Совет должны наконец четко и определенно издать постановления, осуждающие и антисемитизм, и антирусизм, и антилатышество, и антиармянство, и все прочие виды национализма и шовинизма. Пора применять против этого конкретные судебные меры. Любая приставка “анти“, характеризующая негативное отношение к какой-либо национальности, есть античеловечность, антинародность, направленная против многонационального советского народа в целом. Экстремист-украинец, кричащий “Геть з України, москалі!“, заслуживает не меньшего осуждения, чем русский, живущий на Украине, но считающий великую украинскую культуру и мову культурой и языком второго сорта. Житель Прибалтийской республики, считающий всех русских (даже если они родились после смерти Сталина) лично повинными в пакте Риббентроп-Молотов, так же непозволительно несправедлив, как русский, прописанный в Прибалтике, который высокомерно не желает знать ни историю, ни культуру, ни традиции данного народа и тем не менее пытается навязать, что этот народ должен делать и чего не должен.

Затор в экономике во многом объясняется тем, что мы создаем “образ врага“ из людей, стоящих на позициях развития коопераций, акционерных и арендных предприятий, индивидуальной предприимчивости. Пора прекратить ставить знак равенства между предприимчивостью и мошенничеством. Иначе у нас никогда не будет ни Демидовых, ни Морозовых, ни Третьяковых... Разве в государственной торговле и общепите меньше воровства, чем в кооперативах? Разве государство не является самым мощным спекулянтom человеческим трудом и производимыми товарами? Нет ничего более антиматериального, чем материализм с кастрированной предприимчивостью.

Когда протухшую тушу неуклюжей экономической структуры после долгих лет наконец-то выволокли из морозилки, то тошнотворный запах гниения был неизбежен. Пора выбросить протухшую тушу на свалку, а не пытаться спасти ее политическими замораживаниями. Хва-

тит оправдывать неоправдываемое и спасать неспасаемое! Надо спасти то, что мы еще не смогли окончательно убить, — человеческий инстинкт выживания, основанный на предприимчивости. Но если мы не отменим статью 6 Конституции, то идеологический диктат будет неумолимо нависать над развитием экономики. Надо законодательно немедленно покончить с догматической застенчивостью по поводу частной собственности, отдать землю крестьянам, а фабрики — рабочим. Пока государство будет работодателем, а пролетариат — лишь наемными индустриальными батраками, забастовки будут неизбежны. Чтобы покончить с ними, рабочих нужно сделать совладельцами предприятий, соприбыльниками, заинтересованными в прибыли, а не в забастовках. Какой хозяин будет бастовать в собственном саду в момент сбора урожая?! Если на частной ферме от коров получают 6500 литров молока в год, как мы недавно видели в телепередаче о Нидерландах, а идеал наших колхозных и совхозных коров — 4500 литров, то разве это не говорит в пользу развития фермерства? Шведский социализм, включающий в себя частное предпринимательство, гораздо более социалистичен по социальной обеспеченности трудящихся, чем наш государственный. **НАДО РАЗРУШАТЬ “ОБРАЗ ВРАГА”, СОЗДАННЫЙ НЕ ТОЛЬКО ИЗ ЛЮДЕЙ, НО И ИЗ СИСТЕМ, ИЗ СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА.** Когда товар есть, какая разница потребителю до способа производства, лишь бы товар был, был всегда, был хорошего качества и стоил недорого. В экономике целесообразна только сама целесообразность. Все остальное — экономическое шаманство. Если свобода печати не будет подкреплена свободой экономики, то над гласностью всегда будет нависать дамоклов меч, как это мы только что ощутили при попытке снятия нескольких активнейших редакторов, проводивших линию перестройки.

Одна избирательница из Харькова предупредила меня в письме: “Учтите, что если Ваша депутатская деятельность начнет убивать в Вас поэта, мы Вас отзовем“. Чтобы оправдаться, представляю на суд стихи этого года под общим названием, которое, видимо, никогда еще не встречалось в поэзии: “ДЕПУТАТСКИЕ ЭЛЕГИИ“.

КОНТРАМАРКА НА ПРОЦЕСС

В своем предсмертном интервью "Московским новостям" от 11 сентября 1988 года Ю. Даниэль сказал: "Как ни странно, но запомнилось, что в зале суда было много доброжелателей, я ощущал теплую волну симпатии. Помню отчаянное лицо Евтушенко, другие лица, все они выражали сочувствие".

До процесса я не был лично знаком с его героями — читал только предисловие А. Синявского к одному томику Пастернака, и мне попадались время от времени переводы Даниэля. Псевдонимы Николай Аржак и Абрам Терц были мне знакомы по "тамиздату", но, честно говоря, их произведения мне не очень нравились, и я даже предполагал, что это мистификация, созданная за рубежом, а вовсе не посланная из СССР. Раскрытие псевдонимов, арест Синявского и Даниэля ошеломили интеллигенцию.

Я пошел на прием к секретарю ЦК КПСС П.Н. Демичеву, просил его, чтобы не было уголовного процесса. Демичев, по его словам, лично тоже был против суда. Он сказал мне, что Брежнев поставили в известность об аресте постфактум и он принял решение: спросить Федина — тогдашнего председателя Союза писателей, — решать ли этот вопрос уголовным судом или товарищеским разбирательством внутри СП? Федин брезгливо замахал руками и сказал, что ниже достоинства Союза писателей заниматься подобной уголовщиной. Помимо коллективного письма против уголовного суда над Синявским и Даниэлем существовали и другие письма подобного содержания, одно из которых было подписано мной. Тем не менее, несмотря на протесты, процесс состоялся. На процесс выдавали билеты!!! Точнее, контрамарки. Я с огромным трудом получил в парткоме контрамарку, которая выдавалась только на одно заседание. Я несколько опоздал, так как пробиться сквозь толпу, окружавшую здание, и милицию было нелегко. Когда я вошел в небольшой зал, вмещавший человек сто, заседание уже шло. Едва я успел сесть на место, как судья Л. Смирнов, заметивший мой приход, немедленно обвинил Синявского в том, что он в своей набранной в "Новом мире" и затем рассыпанной перед самым процессом статье выступил "против" уважаемого поэта Евтушенко.

Это был один из самых отвратительных моментов в моей жизни. Я почувствовал себя втягиваемым в грязнейшую провокацию. Когда меня политически оплевывали в газетах, обвиняя в “несмыслаемых синяках предательства”, наше доблестное правосудие почему-то молчало и вдруг неожиданно решило меня “защитить”, обвинив в предательстве Родины двух моих коллег-литераторов! Наверно, именно в этот момент у меня было “отчаянное лицо”, по выражению Даниэля. Меня выручил Синявский (да, именно он, подсудимый, выручил меня, сидевшего в зале!). Синявский сказал, что это не была статья против Евтушенко, многие стихи которого ему нравятся, в статье критикуются только некоторые его произведения. Он глядел не на судью, а на меня, поверх голов, и в глазах его я читал нечто, похожее на: “Нас хотят сделать врагами, но мы не должны этому поддаваться”. Так оно и случилось впоследствии.

Много раз многие люди передавали мне теплые слова обо мне и Синявского, и Даниэля, не забывших ни мою подпись под письмом в их защиту, ни другую помощь, которую я, насколько было в моих силах, оказывал. В этом нравственное отличие Синявского и Даниэля от некоторых других уехавших на Запад коллег, в чью защиту я тоже не раз выступал в тяжелые моменты их жизни, но которые затем “отплатили” мне по древнему печальному закону — “ни одно доброе дело не остается без наказанным”. Бог им судья.

После этого шумного процесса над писателями родилось слово “подписант”, обозначающее человека, поставившего свою подпись в защиту инакомыслящих. Подписанты попадали в черные списки на телевидении, их верстки или рассыпались, или задерживались, их заграничные поездки отменялись, некоторых выгоняли со службы. В число таких подписантов попал и я — и тоже претерпел немало неприятностей, однако в отличие от многих коллег я был все-таки защищен своей внутрисоюзной и международной известностью. Несмотря на попытки запретить мою поездку в США в 1966 году, бюрократии это все-таки не удалось. Нынешний заместитель председателя общества “Знание” тов. Семичастный сейчас старается в своих “самоадвокатских” воспоминаниях изобразить себя чуть ли не меценатом искусств (например, якобы он всячески пытался смягчить гнев Хрущева на

Пастернака). Все это ложь. Я присутствовал на митинге комсомола, где Семичастный громил Пастернака с вдохновенным садистским упоением. Став шефом КГБ, Семичастный хотел использовать дело Синявского и Даниэля для дальнейшего “закручивания гаек”. На встрече в “Известиях” он обронил фразу, что кое-кого надо снова “сажать”. На вопрос “сколько?” он ответил: “Сколько нужно, столько и посадим”. Перед моим отъездом в США Семичастный на одном из совещаний напал на меня, сказав, что наша политика слишком двойственна — одной рукой мы сажаем Синявского и Даниэля, а другой подписываем документы на заграничную поездку Евтушенко. Это был опасный симптом. Однако мне уже была выдана выездная виза.

Во время поездки по США в ноябре 1966 года я был приглашен сенатором Робертом Кеннеди в его нью-йоркскую штаб-квартиру. Я провел с Робертом Кеннеди несколько часов. Во время разговора он повел меня в ванную и, включив душ, конфиденциально сообщил, что, согласно его сведениям, псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты советскому КГБ американской разведкой. Я тогда был наивней и сначала ничего не понял: почему, в каких целях? Роберт Кеннеди горько усмехнулся и сказал, что это был весьма выгодный пропагандистский ход. Тема бомбардировок во Вьетнаме отодвигалась на второй план, на первый план выходило преследование интеллигенции в Советском Союзе. Я попросил у Роберта Кеннеди разрешения передать эти сведения Советскому правительству, так как считал такое поведение вредным для интересов нашей страны. Роберт Кеннеди согласился с условием: не упоминать его имени. Я пришел к одному человеку в нашей миссии, которого впоследствии буду называть Б.Д. — благородным дипломатом. Он действительно вел себя в этой истории благороднейшим образом. Я рассказал ему о полученной информации. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Б.Д. даже и не попытался выяснить, кто дал мне такие сведения. Для него было достаточно моей джентльменской формулы “крупный американский политический деятель”. Б.Д. попросил меня составить телеграмму, чтобы затем отправить ее в Москву шифровкой. Понимая опасность такой телеграммы для меня, я спросил, кто ее будет читать. “Только я и шифровальщик”, — заверил меня Б.Д. Я,

конечно, боялся. Те, кто устроили процесс Синявского и Даниэля, безусловно, преследовали свои личные цели, ибо могли пробиться в верхний эшелон только на “закручивании гаек”, обвинив соперников в мягкотелости. Итак, я оставил телеграмму в нашей миссии.

На следующее утро, часов в семь, раздался телефонный звонок в мой номер. Мужской голос сказал, что меня ждут внизу, в вестибюле, — за мной по срочному делу прислали машину из нашей миссии. Мы договорились с женой, что если я не вернусь и не позвоню до часу дня, она может созывать пресс-конференцию. У нее на глазах были слезы, но она держалась мужественно. Внизу меня ждали двое знакомых мужчин, относительно молодых, с незапоминающимися спортивными лицами. Когда я спросил: “Что случилось?“, один из них кратко ответил: “Скоро все узнаете“.

Очень было глупо, что во время нашего ничего не значащего разговора второй из них включил в машине радио, сделав рукой жест, намекающий на подслушивание. Этот фальшиво-серьезный жест насмешил меня и несколько улучшил мое настроение. Мы вошли в здание миссии, но, когда распахнулась дверь лифта, опереточность ситуации еще более усилилась. Один из двоих загородил спиной кнопочный пульт, чтобы я не видел, кнопку какого этажа нажимает его партнер. Выйдя из лифта, мы оказались перед дверью без номера, без фамилии. Комната, в которую меня пригласили, была почти пуста — стол, два стула, настольная лампа и, пожалуй, все. Далее все продолжалось, как в плохом американском детективном фильме, которых, видно, слишком насмотрелись эти двое. Мне предложили стул перед столом. Один из них встал за моей спиной. Другой, действуя по всем голливудским стандартам, снял пиджак, бросив его на спинку стула, сел на стол, картинно заложив ногу на ногу.

Для сохранения голливудской разработки деталей он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, децентрировал узел галстука и спросил, глядя в упор, по его мнению, пронизывающим взглядом:

— Кто был тот политический деятель, о котором вы писали в своей телеграмме?

Я понял, что они ее читали. Каюсь, незаслуженно плохо я подумал в тот момент о Б.Д. Я решил потянуть время:

— Какую телеграмму?

— Телеграмму, где вы пытаетесь опорочить органы... — раздалось рычание за моим затылком.

— Я никого не пытаюсь опорочить, — сказал я, поняв, что дальше притворяться бессмысленно. — Я только передал сведения, сообщенные мне одним американским политическим деятелем. Если они правдивы, те, кто арестовал Синявского и Даниэля, нанесли вред престижу нашей страны, попались на удочку...

— Это клевета! — зарычал теперь уже другой, сидящий на столе.

— Если это неправда, то я не несу за это ответственности. В Москве разберутся... — ответил я.

Тогда они начали пулеметно называть имена различных политических деятелей США, с которыми я встречался за мою поездку, — сенатора Джавица, представителя в ООН Гольдберга, назвали и Роберта Кеннеди. Я, стараясь быть как можно спокойней, отвечал, что есть законы человеческой порядочности, и я их не нарушу. Этот простой довод их почему-то привел в особое раздражение.

Вдруг я услышал нечто, от чего у меня по коже прошел легкий холодок:

— Нью-Йорк — гангстерский город. Если с вами что-то здесь случится, то "Правда" напечатает некролог с нотками сентиментальности о поэте, погибшем в каменных джунглях капитализма...

Но в следующий момент страх мой неожиданно прошел — я понял, что меня нагло, беспардонно шантажируют. Я резко обернулся, схватил моего "затылочного следователя" за галстук.

Из меня прорвался шквал великого, могучего русского языка, накопленного мной на сибирских перронах и толкучках, в переулках и забегаловках Марьиной Рощи, да такой шквал, что мои "следователи" ошарашенно замолчали и, переглянувшись с непонятным мне значением, вышли.

Вот тогда я испугался по-настоящему — когда я оказался совсем один, в пустой комнате. Пустота, неизвестность, одиночество были страшнее угроз. Сколько времени я находился один, я не знаю, может быть, всего минут пять, может быть, полчаса. В конце концов я подошел к закрытой двери, потянул ее на себя, и она не ожи-

данно легко открылась. Я оказался в совершенно пустом коридоре недалеко от лифта, нажал кнопку и через мгновение влетел в него, чуть не сбив с ног стоявшую там официантку в наkolке с подносом, накрытым белоснежной накрахмаленной салфеткой.

— Вы не к Б.Д.? — с надеждой спросил я.

— К нему, — сказала официантка. — А вы мне автограф не дадите?

— Я тоже к нему, — торопливо сказал я и так же торопливо расписался на этой салфетке.

Б.Д. сидел на диване в маниловском халате с гусарской окантовкой и читал книгу по восточной философии. У Б.Д. опять не дрогнул ни один мускул на лице ни тогда, когда он увидел меня, ни тогда, когда услышал все, что случилось со мной. Он не задал мне ни одного лишнего вопроса, только просил поподробнее описать внешние приметы моих “следователей”. Это было нелегким делом, ибо их главной приметой была бесприметность.

— У вас есть один близкий американский друг — профессор, ответственный за вашу поездку, — Альберт Тодд. Поезжайте-ка к нему сейчас и расскажите все, что рассказали мне.

Я обомлел. Обычно существовало неписаное правило — не говорить иностранцам ни о чем, что происходит внутри советских посольств, А тут меня даже просят...

— Я вам дам мою машину, которая отвезет вас к Тодду. Шоферу можете полностью доверять, — сказал Б.Д. — Хотите, я вам подарю новое прелестное издание Бо Цзюи?

Через полчаса я уже был у Тодда, откуда сначала позвонил жене, а потом рассказал ему об этом голливудском “допросе”, о шантаже.

Тодд побледнел, услышав мой рассказ, и бросился куда-то звонить, закрыв дверь комнаты, в которой стоял телефон. Тодд тоже меня не спрашивал, кто сказал мне о Синявском и Даниэле, — он был джентльменом, как и Б.Д. Через два часа к подъезду дома Тодда подъехала машина, из которой вышли двое мужчин тоже без особых примет, но уже иного, американского типа. Они заняли места около подъезда. Тодд спустился вниз, о чем-то поговорил с шофером советской машины, пожал ему руку, и тот уехал. Некоторое время эти двое неразговорчивых мужчин сопровождали меня в моих поездках по

гангстерскому городу Нью-Йорку. Потом мы с Тоддом уехали в турне по американским провинциям — уже без сопровождения. Вернулись мы примерно через месяц. Советская миссия при ООН устроила в мою честь огромный прием. У дверей стоял Б.Д. У него было, как всегда, хорошее настроение.

— Два ваших слишком назойливых поклонника отправлены на Родину, — незаметно для других полушепнул он мне между рукопожатиями с перуанским и малайзийским послом и спросил: — Читали ли вы новый роман Кобо Абэ? Какая прелесть!..

Семичастный был вскоре снят, как и другие, близкие ему люди, которые пытаются сейчас выглядеть в своих мемуарных интервью чуть ли не двигателями прогресса. Но, к сожалению, “диссидентские процессы” постепенно приобрели инерцию снежного кома. Мне приходилось еще до дела Синявского — Даниэля писать письмо в защиту Бродского, затем — в защиту Н. Горбаневской, А. Марченко, И. Ратушинский, Л. Тимофеева. Ф. Светова и других, не говоря уже о письмах в защиту тех, кого подвергали не уголовному, но не менее тяжкому общественному преследованию. Одним из самых циничных изобретений борьбы с инакомыслием стало запикивание в психушку.

“Диссидентские процессы” подрывали престиж нашей страны не только за рубежом, но прежде всего в наших общественных глазах. Они разрушали в нас чувство достоинства — человеческого и гражданского.

Перестройка — это восстановление гражданского достоинства. Поэтому наряду с явными победами демократизации кажутся особенно нетерпимыми любые попытки унижения нашего достоинства, с таким трудом восстанавливаемого: применение дубинок и слезоточивых газов в Белоруссии, драконовские установления о спецпропусках для журналистов, провокационные жестокости в Грузии. Чтобы раз и навсегда закрепить правовое достоинство в наших законах, бесполезно напоминать об отвратительных унижениях этого достоинства — о “диссидентских процессах”.

ДЕРЕВЯННАЯ МОСКВА

(Из очерков, написанных для западно-германской прессы)

Митинг, похожий на сон

Асфальтированная площадка перед стадионом затоплена двадцатитысячной толпой, скандирующей: “Ес-ли мы еди-ны, мы не-по-бе-ди-мы!” В толпе нет ни бюрократов, гладко выбритых электробритвами “Сони” или лезвиями “Жилетт”, которых не бывает в открытой продаже, ни королей черного рынка с жирными мохнатыми пальцами, усыпанными перстнями, ни звезд эстрады в норковых мехах. Эта толпа состоит из тех москвичей, которые вряд ли зарабатывают больше, чем сто пятьдесят—двести рублей. Студент в лыжной вязаной шапке с кисточкой размахивает лозунгом “Даешь демократию!”. Молодая медсестра с лицом, обсыпанным веснушками, поднимает над головой сшитый из простыни белый флаг с синим крестом. Маленький, угрюменький человечек трудно угадываемой профессии держит в руке с вытатуированным якорем хрупкую палочку с трепещущим на ветру листом бумаги, на котором надпись: “Ельцын — это как-то бодрит...” совершенно не сочетается с грустным, понурым видом автора самодельного лозунга. А с трибуны ораторы обрушивают на толпу призывы к свободе, к народовластию... Фотокорреспонденты со всего мира гроздьями виснут на столбах. Ко мне подходит знакомый американский журналист, улыбается: “Последние предвыборные митинги в Америке отсюда, из Москвы, кажутся конформистскими. Никогда не думал, что Москва когда-нибудь сможет быть такой...” Признаться, и я не мог этого представить. Конечно, неподалеку от митинга, за железнодорожной насыпью стоят фургоны защитного цвета, а в них наготове сидят крепкие парни в серых куртках частей особого назначения. Конечно, наверняка в этой толпе есть те люди, которые являются коллективным глазом оруэлловского Большого Брата. Но сейчас милиция не врывается в толпу, не стаскивает с трибуны ораторов, ибо такого приказа пока нет, и даже прислушивается с

неподдельным детским интересом к особо мятежным речам. Милиционер — крестьянского вида рыжий паренёк, — услышав призыв к многопартийной системе, морщит лоб, делится своими опасливыми соображениями: “Это что же, значит, ежели будут, к примеру, три партии, то будут сразу три разных партийных райкома, а мы их всех кормить должны?”

Этот митинг кажется мне невероятным, почти сном, потому что я помню другую Москву — сталинского времени, когда люди боялись шума поднимающегося ночью лифта, ибо их могли арестовать в любое мгновение не только за речь, призывающую к свободе (таких речей давно уже не было), а просто потому, что многоголовому чудовищу полицейщины, для того чтобы выжить, нужно было постоянно питаться живыми людьми. Только в прошлом году открылось несколько страшных тайн Москвы. Рядом с Птичьим рынком есть такое ничем раньше не знаменитое кладбище — Калитниковское, а при нем чудесная старинная церковь Всех Скорбящих. И вдруг оказалось, что под этим “официальным” кладбищем есть засыпанное землей и теперь придавленное чужими гробами другое кладбище — секретное. Когда умер Сталин, Берия немедленно приказал произвести эту засыпку, чтобы скрыть следы преступлений. Даже многие старожилы-москвичи не догадывались, что под свежими могилами прячется старая, общая могила десятков тысяч людей, по суду и без всякого суда расстрелянных в варфоломеевские ночи тридцатых годов. Чудом уцелело несколько старушек, которые тогда были детьми, и они поведали все, что сохранила их память. С пристальным, все замечающим любопытством детей они решили подсмотреть — что делают люди, приезжающие вечером в парк в закрытых фургонах? Притаившись в кустах, дети увидели страшную картину: фургон подъезжал к самому краю длинного глубокого оврага, задняя стенка откидывалась, и наша советская зондеркоманда в длинных фартуках, в резиновых сапогах и перчатках сталкивала специальными крюками один за другим в овраг голые трупы с пулевыми дырками в черепах, заткнутыми тряпицами. Многие трупы были уже не первой свежести, со вздувшимися животами, и, падая вниз, они лопались с характерным ужасающим звуком. По парадоксально-трагическому совпадению напротив кладбища был мясокомбинат имени Мико-

яна, над чьим зданием по ночам сверкал усыпанный электрическими лампочками портрет Сталина, в то время как мясокомбинатовские собаки подходили к краю оврага и, облитые луной, выли над трупами...

Все это помнит Москва и не хочет повторения этого.

Не люблю Москву бюрократических контор, не люблю Москву магазинов. Люблю Москву рабочих, по субботам и воскресеньям не только играющих в домино, но теперь и ходящих на политические митинги, воскрешая почти забытые революционные традиции пролетариата.

Люблю Москву студентов, чьи глаза горят сейчас не только от поэзии, но и от социальных надежд.

Люблю Москву ученых, вышедших на демонстрацию в поддержку кандидатур академиков Сахарова, Сагдеева, против бюрократов от науки.

Люблю Москву театров, музыки, живописи, музеев, церквей, кладбищ, детских садов.

Люблю Москву домов, где тебя всегда накормят, одолжат денег, если надо.

Люблю Москву красавиц, на которых заглядывается весь мир.

Люблю Москву бабушек.

Москва — это бабушка будущего, везущая его в детской коляске.

Поцелуй, похороненный под стадионом

Для того чтобы понять какой-либо город, надо хотя бы один раз полюбить в нем, хотя бы один раз заболеть, хотя бы один раз быть обкраденным, хотя бы один раз нечаянно найти что-то, хотя бы один раз похоронить кого-то, хотя бы один раз пройти по этому городу с ребенком на руках...

Все это было со мной в Москве, и поэтому этот город мой — он полон тенями моих счастливых и несчастных, призраками людей, которые для многих умерли, а для меня — вечное население Москвы. Когда туристы разглядывают Кремль, Большой театр, музеи под бойкую скороговорку гидов, то я счастлив тем, что у меня есть иной гид — моя собственная память, и она ведет меня по таким закоулкам, куда никогда не заходят туристские автобусы. Какой-нибудь потрескавшийся деревянный домик, чудом сохранивший свое неповторимое, полное

старческой красоты лицо и неумолимо обреченный на снос как портящий вид близлежащего гигантского здания, для меня это музей моей юности, и какая-нибудь темная подворотня для меня — это мой маленький Большой театр, где разыгрывались любовные оперы моей жизни под музыку пасодобля “Рио-рита” выхрипываемого из раскрытого окна еле дышащим патефоном с дребезжащей иглой.

Когда я недавно проходил мимо строительства олимпийского стадиона в районе бывших Мещанских улиц, знаменитых своим хулиганством во времена моего детства, я вдруг с грустью подумал о том, сколько моих воспоминаний погребено в фундаменте этого стадиона, и о том, что многотысячная ревущая толпа, которая заполнит этот стадион, никогда не догадается о стольких тайнах наших детства, придавленных величественной спортивной конструкцией, среди которых и тайна моего первого поцелуя.

Я приехал в Москву из Сибири в сорок четвертом году, когда мне было двенадцать лет. Мама — эстрадная певица — была на фронте, отец, разведенный с нею, — где-то в Сибири, и я жил один в коммунальной квартире внутри деревянного ветхого домика, окруженного черемуховыми деревьями и тополями. Как и многие дети той поры, я был предоставлен самому себе. Моей нянькой была улица. Улица научила меня драться, воровать и ничего не бояться. Но одного страха улица у меня не смогла отобрать — это был страх потерять хлебные карточки. Я носил их в холщевом мешочке на ботиночном шнурке вокруг шеи. Однажды после драки этот мешочек исчез. Старуха, стоявшая в очереди, отдала мне карточки скончавшегося мужа, сказав: “Хоть за мертвого поешь...” Вместе с другими мальчишками я торговал папиросами, покупая их пачками, а затем продавая по одной штуке. Но в День Победы все папиросники города Москвы раздавали свои папиросы даром на Красной площади, мороженщицы раздавали мороженое. Казалось, что вся Москва пришла на Красную площадь. Все женщины, кружившиеся в вальсе под чьи-то пьяные гармошки, были в кирзовых сапогах — туфель я не помню. Подбрасывали в воздух американских, английских офицеров, и мы встревоженно ловили иностранные монеты, летевшие из их карманов. Один американец дал мне чуингам, а я подумал, что это конфета, и проглотил. На ступеньках

Мавзолея сидели в обнимку раненые солдаты и пили водку. Под голубыми кремлевскими елями целовались врасос. А я никогда еще не целовался. Мать, уезжая, закрыла один из книжных шкафов, предупредив меня: “Это для взрослых...” Разумеется, первое, что я сделал после ее отъезда, — это открыл шкаф при помощи волнистого ножа для масла и жадно набросился на скромную эротическую крамолу Гюи де Мопассана, воображая себя двойником страстного любовника Жоржа Дюруа. В свои тринадцать лет я был готов для любви. К ровесницам-девочкам меня не тянуло: они казались мне скучными. Меня притягивали жрицы любви, утешительницы отпускных офицеров — с ярко намазанными губами, с лакированными ридикулями, с прическами под модную тогда у нас американскую кинозвезду Дину Дурбин, стоявшие кучками у гостиницы “Метрополь” и у Большого театра. Одна из них жила как раз в нашем районе, около тогдашнего крошечного стадиона “Буревестник” — нынешнего грандиозного олимпийского стадиона. Если в этот район и заходили милиционеры, то всегда с пустыми кобурами — чтобы безотцовские мальчишки не отняли у них револьверы. Здесь были свои особые законы, где правили несколько враждовавших друг с другом подростковых мафий. Вышеупомянутой жрице было тогда лет восемнадцать, и она казалась мне зрелой таинственной женщиной. Продав в букинистический магазин “Историю XIX века” Лависса и Рамбо, я выждал ее однажды у пропавшего кошками и портвейном подъезда, когда она возвращалась поздно вечером, пошатываясь от клиентов и алкоголя, и плакала, размазывая кулаком черную тушь по лицу. Ни слова не говоря, я протянул ей сжатую в моей ладони потную красную тридцатку (нынешние три рубля). Она отняла руки от лица, и я увидел под ее глазом огромный синяк, что сделало ее еще таинственней и притягательней в моих глазах.

— Ты же еще маленький, — со вздохом сказала она. — За это в тюрьму сажают...

— Мне уже шестнадцать, — выпалил я, прибавляя себе три года.

— Зачем я тебе такая? — покачала она головой.

— Мне только поцеловаться... — торопливо пояснил я.

— Поцеловаться? Таких, как я, не целуют, дурень... — усмехнулась она и еще сильнее заплакала. — Да я и сама не умею целоваться...

Потом неожиданно сказала:

— Ладно... Подожди меня... — и исчезла в провале подъезда. Ждал ее не меньше получаса и уже думал, что она не придет. Но она вышла — совсем другая — без дра-ной лисы на шее, без лакированного ридикульчика, без следов краски на лице, прическа под Дину Дурбин была накрыта белым пуховым платком, а на плечах был зеле-ный солдатский ватник — только синяк напоминал про нее, другую.

— Ну, куда пойдём? — спросила она трезвым, реши-тельным голосом.

— На стадион... — сказал я тоже решительно. У меня все было обдумано.

Вот какая моя маленькая тайна спрятана в фунда-менте нового олимпийского стадиона, воздвигнутого на месте этих старых футбольных ворот, пошедших, навер-ное, на растопку.

Видимо, каждый город — это сотни тысяч тайн, невидимых для туристского взгляда. “Зачем же тогда ездить в чужие города, если все равно никогда до конца не пой-мешь их тайн?” — может спросить какой-нибудь ленивец. Чтобы понять тайны других городов, надо заводить в них свои тайны. Но этого мало. Надо сделать так, чтобы и чужие тайны стали вашими. Но это невозможно без дружбы. Любой город в мире будет закрыт для вас, как за семью замками, если у вас там не будет друга. Толь-ко друг — это тот волшебный ключик, который сможет открыть душу любого города. Но грешно искать друзей лишь для удовлетворения праздного любопытства или, еще хуже, на предмет практического использования. Лю-ди не так глупы, как это иногда кажется, и инстинктив-но чувствуют, с какой душой к ним приходят, и в зави-симости от этого раскрывают свою душу или нет. испове-дальностью отвечают лишь на исповедальность. Незачем ездить ни в какую страну, если внутри нет глубокого интереса к ее истории, культуре, сегодняшней жизни, а лишь желание показывать знакомым после возвращения слайды самого себя на фоне Эйфелевой башни, Эмпайр-стэйтс билдинга или Кремля. Пора выкидывать из наших душ анахроническое вреднейшее ощущение себя “ино-странцем“ где бы то ни было, а если в какой-либо стра-не тупые бюрократы будут вам напоминать об этом, то нельзя забывать, что помимо бюрократов в любой стране

живут, любят, страдают, радуются многие прекрасные люди, возможно, необыкновенно близкие вам по своим надеждам и даже по своим тайнам. Когда я был в Париже впервые, мне показалось, что я там уже был, что у меня есть ключик к тайнам этого города. Потом я понял, что этот ключик — искусство, литература.

Любой русский интеллигент уже знает заранее Латинскую Америку — по Габриэлю Гарсиа Маркесу, Японию — по Кобэ Абэ, США — по Фолкнеру, Западную Германию — по Генриху Беллю. Нельзя понять даже современного Ленинграда без знания Достоевского, современную Москву — без Толстого и сегодняшней русской поэзии. Искусство, литература — это те невидимые нити, которые и дают всем людям, разделенным границами, ощущение самих себя как единой человеческой семьи. Но одной литературы мало, потому что она иногда фатально отстает от беспрерывно изменяющегося мира. Иметь свое мнение о стране, о городе, в которых ты не был, по меньшей мере легкомысленно, а иногда даже аморально. Никакое книжное, а особенно газетное, знание не может заменить человеку его собственные глаза. Даже прикосновения к самым великим страницам не могут дать того понимания, которое иногда дает прикосновение руки к руке.

Москва необыкновенно изменилась с той поры, когда та девчужка вынула из моей ладони слипшуюся красненькую тридцатку и сунула мне ее в карман. Если бы по волшебству уэллсовской “машины времени” можно было бы перенести тех женщин, не знавших, что такое легкие туфельки, и танцевавших вальс в День Победы в грубых солдатских сапогах, прямо на сегодняшнюю Красную площадь, тридцать пять лет спустя, то они растерялись и подумали, что находятся в другой стране, сделавшей у себя копию Красной площади, где поголовно выучились русскому языку — кстати, тоже значительно изменившемуся. Людям военных лет трудно было бы понять, что девушки в белых платьях и мальчики в джинсах, танцующие у древних стен Кремля рок-н-ролл после выпускного школьного вечера, — это их потомки. На одном из праздничных салютов на Воробьевых горах в ознаменование годовщины Победы, куда я привел своего маленького сына несколько лет назад, я неожиданно поразился, услышав рядом немецкую речь. Неподалеку от меня стоял немец — может быть, журналист, может быть,

посольский или торговый работник — я даже не знаю из ФРГ или ГДР — и держал на плечах своего белоголового сына, восторженно кричавшего каждый раз после того, как в небе распускались павлиньи хвосты фейерверков. Могли ли мы, мальчишки военных годов, игравшие в войну, представить, что когда-нибудь маленький немец будет любоваться в Москве салютом нашей Победы?

Джина Лоллобриджида и Красная площадь

Однажды утром раздался телефонный звонок. Мелодичный женский голос сказал по-итальянски, что говорит Джина Лоллобриджида. Я повесил трубку, думая, что это шутка какой-нибудь взбалмошной девчонки из Института иностранных языков. Слишком невероятно было предположить, что звонит прославленная кинокрасавица шестидесятых годов, поражавшая когда-то мое юношеское воображение не столько игрой, сколько красотой призывно мерцающих глаз, похожих на мокрые темные вишни, и смущавшая обольстительной выпуклостью двух всемирно известных тугих полушарий, от которых лопается корсаж. Но звонок повторился. Женщина, упрямо называвшая себя Джиной Лоллобриджидой, сказала, что сейчас она занимается фотографией, приехала снимать Москву и просит моей помощи, советов в выборе натуры.

Наше свидание произошло в репетиционном балетном зале Большого театра, где юные балерины пахли потом, как загнанные лошади. Призрак экранной Джины, всегда либо соблазняющей, либо соблазняемой, материализовался в немолодую, но все еще прелестную, однако полностью деловую женщину, скрывшую свои знаменитые глаза под дымчатыми очками, а знаменитые груди — под фотоаппаратами, гроздью свисающими с шеи. Джину сопровождал целый эскорт фотографов, таскавший ее дополнительные объективы, пленки, “вспышки“, а заодно снимавший ее в то время, когда снимала она. Подобный эскорт противоречил моему пониманию фотоискусства, и я попросил Джину от них отделаться. Она согласилась и сказала: “Сначала пойдем на Красную площадь. Но это — для всех... А потом покажите мне вашу Москву...”

И вдруг я впервые задумался: а что же такое моя Москва? Есть туристская Италия, а есть Италия итальянская... Есть туристская Москва, а есть Москва москов-

ская. А внутри этой московской Москвы — моя личная.

Джина Лоллобриджида стояла на брусчатке Красной площади и, припав на элегантное колено, обтянутое черным вельветом, фотографировала то смену караула у дверей ленинского Мавзолея, то Собор Василия Блаженного. Но знала ли она, что, по преданию, строителям этого собора выкололи глаза, дабы они не построили другого, еще более прекрасного храма? Недаром царь Иван, давший этот приказ, получил прозвище — Грозный.

Осенью сорок первого года я видел, как солдаты карабкались по лесенкам на кремлевские звезды и надевали на них чехлы. Одним из гранильщиков этих звезд был старенький латыш, которого мы звали Карлуша. Он жил в нашем дворе на Четвертой Мещанской вместе со множеством кошек. Их мы ловили и с детской жестокостью привязывали за хвосты к его дверной ручке. Карлушу арестовали перед войной, он навсегда исчез, и теперь у него уже поздно просить прощения.

В целях противовоздушной маскировки Мавзолей был обшит раскрашенной фанерой. Гроб с телом Ленина эвакуировали, но это тогда хранилось в тайне. Я узнал об этом лишь во время эвакуации, когда остановились все эшелоны, пропуская один, до странного короткий поезд. Прошел слух, что в этом поезде везут золото. Я и другие мальчишки подошли к часовым и спросили: “Дяденьки, вы золото везете? Покажите хоть кусочек”. Офицер, тяжко вздохнув, ответил: “Дороже, чем золото... Ленина...”

16 октября 1941 года многие думали, что Москву оставят. Помню мальчика, грустно выпускающего золотых рыбок из аквариума в пруд под тенью нависших над ним зениток. Вокруг куда-то бежали люди с узлами, чемоданами, а толстая женщина толкала перед собой детскую коляску, в которой были свернуты в трубку персидский ковер, хрустальная люстра и бронзовая статуэтка Наполеона, заложившего руку за обшлаг сюртука. Бродил, хватая бегущих за рукава, странный старик с шахматной доской под мышкой и предлагал сыграть блицтурнир, бормоча: “Что делается... что делается... Все мои коллеги — Хосе Рауль Капабланка, Ласкер, Эйве — уже эвакуировались в Сибирь, и никто не догадывается, что я — Алехин... Запомните, 16 октября сорок первого года Алехину не с кем было играть в шахматы!” Лишь при пристальном взгляде на старика можно было увидеть

торчащие из-под плаща больничные пижамные брюки и тапочки.

Я вспомнил все это, когда Джина Лоллобриджида, взобравшись на Лобное место, без какого-либо исторического страха перед призраком царского топора фотографировала Красную площадь с какой-то особенной точки.

А еще я видел свое возвращение в Москву из сибирской эвакуации, и уже расчехляемые солдатами звезды, и падающие у Мавзолея фашистские знамена, и кружащихся в вальсе женщин вместе с солдатами и офицерами, пахнущими трофейным “киршем”. Несколько безногих инвалидов, поднятых на руки толпой прямо на своих подшипниковых деревянных колясках, покачивались над Красной площадью как страшные живые памятники войне...

— Ну вот, я отсняла Красную площадь, — сказала Джина Лоллобриджида, вставляя в свой “Никон” новую пленку. — А теперь вы обещали мне показать вашу Москву...

— Да, да, — забормотал я, очнувшись от нахлынувших видений.

Мне трудно было объяснить Джине, что Красная площадь — это тоже моя Москва, ибо она наполнена невидимыми для туристов призраками.

Мы сели в мою машину и поехали в район старых Мещанских улиц, где я провел свое детство, играя в футбол на пустырях, вместо того чтобы ходить в школу, куда меня однажды торжественно привела бабушка, как теленка, на веревке.

В Москве первых послевоенных лет было две Москвы — каменная и деревянная. Я рос в деревянной Москве, в маленьком двухэтажном домике, спрятанном в деревьях. Отапливался он дровами. На ванны, ни душа у нас не было, и, как большинство тогдашних москвичей, мы по субботам торжественно ходили в баню, совершая старинный обряд хлестания друг друга по бокам и спине березовыми вениками. Сейчас в Москве квартир с ваннами больше, но парадоксально, что очереди в бани увеличились, а березовые веники стали дефицитом. В баню ходят уже не просто помыться, а поблаженствовать, пообщаться в облаках пара, где все голые и ни у кого нет преимущества в том, как он одет. А в первые послевоенные годы все были одеты примерно одинаково, и лишь ничтожное меньшинство жило в отдельных квартирах с ванной и другими удобствами. Частные холодильники,

если я не ошибаюсь, появились году в пятидесятом, а до этого сумки с продуктами вывешивались из окна — на холодок. Мама, бывшая певица, потерявшая голос на фронте, бабушка, моя сестренка и я жили в двух комнатах коммунальной квартиры. В сатирических произведениях тех лет весьма ядовито описаны эти коммунальные кухни, где разъяренные соседки плюют друг другу в борщ, и жильцы устраивают общественную порку тому, кто не гасит свет в туалете. Однако в нашей коммунальной квартире такого не было и в помине. Наоборот, общая кухня была чем-то вроде маленького парламента, где обсуждались все дела — и семейные, и политические, а большим залом этого парламента был весь двор, где на деревянных скамеечках в тени деревьев шли долгие заседания всех жильцов и равными в спорах были и водопроводчик, и профессор, и писатель. Такой была тогдашняя Москва.

Когда я приехал вместе с Джинной Лоллобриджидой на Четвертую Мещанскую, наш домик еще был на месте, но уже пустой, без жильцов, а рядом стояли бульдозеры, готовые к тому, чтобы его снести, ибо он попал в беспощадный план реконструкции для предстоящих Олимпийских игр. Около дома маячили двое моих бывших соседей, отхлебывая из горлышка водку и наблюдая за его гибелью. Отхлебнул и я, и Джина, не узнавшая ими. Мы поехали посмотреть другие деревянные улицы, но, к моему печальному удивлению, там суетились киногруппы, поспешно снимавшие последние кусочки исчезающей старой Москвы. Я бродил с Джинной Лоллобриджидой — со странной гостьей из другого мира — по кладбищу воспоминаний моего детства. Привыкшая избегать узнавания, Джина на сей раз, как мне показалось, растерялась от катастрофического неузнавания и даже сняла дымчатые очки. Но ее все равно не узнавали. Может быть, она была последним фотографом, которому удалось сфотографировать старомосковские сельские дворики с георгинами и ромашками, окна с деревянными ставнями и наличниками, где на подоконниках стояла традиционная алая герань (торжествующий символ так называемого мещанства, который был не раз атакован комсомольскими поэтами двадцатых годов, но все-таки выжил), зеленые рога алоэ — растения, по московским суевериям, предохраняющего от всех болезней, а также пузатые четверти с тем-

темной наливкой, где плавали разбухшие пьяные вишни. Окна старой Москвы были непредставимы без этого антуража, равно как и без белых кисейных занавесок, сквозь которые всегда высывались любопытствующие лица московских бабушек — кариатид столицы.

Но сколько бы ни снимала Джина, она, конечно, видела в своем объективе все по-иному, чем я, да иначе и быть не могло. Нет такого фотоаппарата, который мог бы фотографировать воспоминания. А ведь каждый город для живущего в нем — это целая антология воспоминаний. Поэтому парижанин никогда не увидит в Москве то, что видит москвич, а москвич никогда не увидит в Париже то, что парижанин.

После фотосъемки мы поехали с Джиной по ее просьбе в то место, “где веселится молодежь”. Я выбрал кафе “Ли́ра” на площади Пушкина, куда часов в шесть парами приходят студентки, секретарши и фабричные работницы и скромно заказывают себе кофе-гляссе, оставляя свободными два стула за столиком. К семи часам эти стулья уже заняты их импровизированными кавалерами — или москвичами или командированными, а на столиках стоят бутылки шампанского, соленые орешки или какая-нибудь другая закуска, и бешено режут электрогитары, и все вокруг крутится в, казалось бы, неостановимой танцевальной карусели до роковых одиннадцати часов. Мы еле втиснулись за один столик, где сидели двое моряков с девушками. Они были гостеприимны и потеснились, а вскоре Джина уже лихо отплясывала рок-н-ролл с одним из них. Джину потрясло, что ее никто не узнавал и здесь. Джина решила спровоцировать “узнавание” и при помощи моего перевода спросила у наших соседей по столу, кого они знают из итальянских артистов. После некоторого размышления один из краснофлотцев назвал Альберто Сорди.

Джина пошла в открытую атаку.

— А Джина Лоллобриджида? — спросила она.

— Она, кажется, играла Клеопатру, — сказала одна из девушек. — Или я ее путаю с Элизабет Тейлор... Но они, по-моему, обе умерли...

Отдаю должное Джине — у нее хватило юмора, и она весело рассмеялась, сказав мне:

— Я счастлива, что “умерла”. Мне больше нравится снимать самой, чем тогда, когда снимают меня.

Вино в таблетках

Слово “ресторан” в моем сибирском детстве не существовало — было слово “столовая”. В сорок пятом году мне отоварили все карточки, оставленные мамой, бывшей тогда на фронте, сгущенным молоком. Был целый бидон — литров пять. Я пригласил всех дворовых мальчишек на этот пир Дукулла. Мы вылили сгущенку в таз посреди стола и начали черпать ее ложками, намазывали на хлеб или просто хлебали. После этого я видеть не могу сгущенного молока. Все детство я провел в очередях, как и почти все дети нашего поколения, записывая порядковые номера химическим карандашом на ладони.

Теперь, несмотря на повышение цен, на автомобили очередь. А тогда можно было запросто купить автомобили, впервые выпущенные в частную продажу, но их мало кто покупал. Огромный лимузин “ЗИМ” стоил 40 тыс., “Победа” — 16, “Москвич” — всего 8 тысяч (по нынешним ценам это 4000, 1600, 800 рублей). Даже в момент продовольственных неурядиц в магазинах всегда были шампанское, крабовые консервы и печень трески в масле. Сейчас это дефицит, потому что все поняли, что это — деликатесы. А тогда вкус к еде был проще, и, что такое деликатес, никто не понимал. Когда мне было 14 лет, я открыл по хемингуэвской книжке существование коктейлей. Мы с друзьями-школьниками решили отпраздновать Новый год по-хемингуэвски и смешали в ведре все, что попало: пиво, сидр, дешевое фруктовое вино и водку, бросая в нашу дьявольскую смесь сосульки с ржавчиной крыш. Нечего и говорить, что мы еле выжили при этом эксперименте внедрения цивилизации в наши желудки. В 1949 году, после напечатания моих первых стихов, я пригласил своего друга — сына дворника и двух девушек из швейной мастерской в ресторан “Аврора”. Когда я прочел надпись “Сухое вино” и заказал его, то очень разочаровался, увидев, что оно — не в таблетках. Желая показать свои ресторанные познания, одна из девушек сказала официанту: “Бутылку сациви!”. Официант, седой человек с тонким интеллигентным лицом, больше похожий на скрипача, вежливо ответил, не подавая виду, что сациви — это грузинская закуска: “Извините, бутылочное сациви кончилось. Есть лишь в виде закуски...”

Когда я при счете в 170 тогдашних рублей (17 рублей после денежной реформы) дал на чай официанту огромную сторублевку, он вежливо отозвал меня в сторону и тихонько сказал:

— Молодой человек, вы первый раз в ресторане?

Я попытался удариться в амбицию (мне было 16 лет):

— Не все ли вам равно?

— Если вы хотите, чтобы вас уважали официанты, — настойчиво продолжал он, — никогда не давайте больше двадцати процентов. Иначе они будут смеяться над вами за вашей спиной.

Это был хороший урок для меня на всю жизнь.

В Москве начали появляться первые богатые дети. Это была узкая каста сыновей академиков, известных композиторов. Они одевались только во все заграничное, длинные, похожие на полупальто пиджаки с могучими ватными плечами, яркие попугайские галстуки, вишневые ботинки на каучуковой белой подошве. Длинные волосы были густо смазаны бриолином. Они разъезжали на отцовских машинах и развлекались в обществе манекенщиц. Этот клан получил впоследствии хлесткое прозвище “стиляги”. Их манера одеваться, танцевать была своего рода протестом против стандартизации, но протестом карикатурным. Пристанищем стиляг был коктейль-холл на улице Горького. В 1954 году после кровавого преступления в клане “стиляг” коктейль-холл был объявлен “рассадником буржуазного образа жизни” и закрыт. Дружинники вылавливали оставшихся стиляг на танцплощадках и сражались при помощи ножниц со слишком длинными волосами и слишком узкими брюками и строго следили за идеологической выдержанностью танцев. Стиляги исчезли. Но падекатр и краковяк не привились на танцплощадках. Молодежь упрямо танцевала рок-н-ролл.

Окончательный перелом во вкусах произошел в 1957 году, во время фестиваля молодежи, когда многотысячные толпы иностранцев впервые хлынули на улицы Москвы, смешиваясь с молодыми москвичами. Когда-то в сатирическом журнале “Крокодил” кока-кола и пепси изображались как “буржуазный яд”, теперь бутылки пепси продаются даже в Большом театре, и почти вся московская молодежь ходит в джинсах, если не американского, то социалистического производства, впрочем оставляющего желать лучшего. Джинсомания, впрочем, кажет-

ся, проходит — на первое место выходит вельвет. В Москве один за другим открываются бары, где не очень умело, но делаются напитки, называемые коктейлями. Бывшие когда-то полуподвальными, джазы выступают в больших залах, исполняя западные и собственные мелодии. Москва в сравнении с прошлым стала гораздо менее патриархальной, менее замкнутой. Когда приехала группа “Бони М”, то ажиотаж был настолько велик, что пришлось вызывать конную милицию.

Но экспорт модернизации нравится далеко не всем. Многие сетуют на то, что новые проспекты просторны, но неуютны и ностальгируют по старым, кривым, но очаровательным улочкам, по деревянным домикам с алой геранью. Удобств стало больше, но меньше уюта. Получился парадокс: те, кто когда-то отчаянно добивался отдельной квартиры, иногда вздыхают о коммунальных квартирах, потому что люди там жили в тесноте и неудобствах, но менее отчужденно. Москвичи снова создают дворы, озеленяют бывшие пустыри, сажают цветы на балконах и у подъездов, потому что без зеленых дворов Москва — не Москва. Стук костяшек домино — на деревянных столах под дворовыми “грибками” — это обычная музыка московских дворов. Неистребима московская привычка засаливать на зиму огурцы и помидоры, шинковать капусту, мариновать грибы, варить варенья. Пепси-колу покупают все-таки больше как экзотику, а сами предпочитают квас, и в жаркие дни у цистерн выстраиваются очереди с бидонами и банками. Москва по природе в чем-то навеки патриархальна, и модернизация прививается далеко не во всем, и слава богу. Зачем нужно, чтобы Москва из города русского превращалась в нечто средневропейское? Старая Москва живет и внутри современных зданий с газовыми плитами и ванными, а из окон многоэтажных домов во время праздников доносятся все те же протяжные хоровые песни, как когда-то они доносились из деревянных домиков.

Не случайно, несмотря на любопытство москвичей к современной музыке, Москва родила двух выдающихся менестрелей: певцов-поэтов Окуджаву и Высоцкого. Булат Окуджава, воспевавший старые московские улочки, — тонкий лирический мастер, отец российского менестрельства — начал писать свои песни в конце пятидесятых. Несмотря на то что его песни не звучали ни по ра-

дио, ни по телевидению, не выпускались пластинками, они, распространившись как по волшебству, звучали во всех московских домах, в рабочих и студенческих общежитиях, даже в квартире Шостаковича.

Пришедшие позднее, песни Владимира Высоцкого, актера Театра на Таганке, исполнителя роли Гамлета и роли брехтовского Галилея, были полной противоположностью Окуджавы: его песни не столь мелодичные, но более резкие, более обнаженные. Голос Высоцкого — хриплый, рычащий. Слова песни написаны на московском грубоватом сленге и иногда напоминают сатирические фельетоны под гитару. Высоцкий безвременно умер, и его похороны превратились во всемосковское шествие: за гробом шло около трехсот тысяч человек.

Я счастлив, что в Москве любят стихи так, как ни в одном другом городе мира. Я думаю, что Москва — это единственный город, где на чтение стихов могут собраться 100 тысяч человек, заполнив футбольный стадион. Так еще не было, но так когда-нибудь обязательно будет.

Исаак Меламед — победитель

У легендарного режиссера Всеволода Мейерхольда был ассистент — Исаак Меламед, чудом уцелевший в исторических катаклизмах. Самого Мейерхольда я не застал в живых, а вот с Меламедом познакомился. Это произошло в пятидесятых годах, в кафе “Националь”, где Меламед ежевечерне пребывал вместе со своим другом и собутыльником — замечательным писателем Юрием Олешей. И Меламед, и Олеша были, скажем мягко, небогаты, и сердобольные официанты разрешали им приносить с собой за пазухой магазинную водку без ресторанной наценки. Меламед был закоренелый холостяк, тощий, как вобла, с провалившимися щеками, усыпанными веснушками, и с рыжими развевающимися волосами, пылавшими, как огненный ореол, вокруг головы. Меламед ходил всегда в одном и том же засаленном пиджачишке, обсыпанном перхотью, в брюках с непоправимой бахромой, а рубашку он иногда надевал наизнанку, чтобы придать ей подобие свежести, что не мешало ему прицеплять неизменный галстук-бабочку. У Меламеда были огромные, всегда удивительные глаза с печалью внутри, и он мог часами говорить за столом о Данте, Гете, Шекспире.

Лишь уходя из кафе, он спускался с небес искусства на грешную землю и гордо просил займы на троллейбус.

И вот однажды произошло нечто необыкновенное. Напротив был длинный банкетный стол, где восседали упитанные иностранцы делового вида и поглощали водку, заедая ее черной икрой и семгой. Внезапно один из иностранцев — весь свежесбрившийся, румяный, лоснящийся, весь в бриллиантовых заколках и запонках, поперхнулся бутербродом с икрой, выплюнул его против всякого этикета, рванулся со стула, уронив его на пол, и завопил на все кафе: “Меламед! Ман либер Меламед!” Он бросился к нашему рыжему оракулу, прижав к своей, осыпанной черными дробинками икры салфетке, засунутой за воротник. Меламед растерянно молчал, пока иностранец обнимал его и тряс, одновременно и хохоча, и чуть не плача. Мы переглядывались, ибо никому из нас и в голову не могло прийти, что Меламед — наш скромный Меламед! — мог быть хотя бы отдаленно знаком с каким-нибудь капиталистом. И вдруг провалившиеся от постоянного недозакусывания щеки Меламеда вздрогнули и в его детских глазах пророка проблеснуло узнавание. “Пауль!” — заорал в ответ Меламед, и теперь они уже оба начали трести друг друга, сокрушив на пол графинчик с нелегально перелитой в него под столом магазинной водкой. Иностранец, оказавшийся президентом какой-то фирмы в Западной Германии, начал махать пачками марок, рублей, требовать шампанского, которое немедленно появилось. Ничего не объясняя нам, они начали петь вместе с Меламедом тирольские песни и, обнявшись, удалились в неизвестном направлении...

История их дружбы, как мне потом рассказывали, была следующая. Когда в 1941 году Меламед подал заявление о том, что он готов идти добровольцем на фронт, то в графе “знание языков” поставил “немецкий”, хотя знал только в школьном объеме. Знание немецкого тогда было в цене. Несмотря на чисто символический вес Меламеда — чуть больше пятидесяти килограммов и на его общий скелетообразный вид голодающего индуса, его направили в десантный отряд парашютистов. Меламед был сброшен с парашютом в белорусских лесах на предмет получения “языка”. При приземлении все десантники погибли — за исключением Меламеда. Возможно, Меламеда спас его воздушный вес. Меламед зацепился за сук сосны

и повис на парашютных стропах. Затем ему удалось их перерезать и спуститься на землю. Но задание Меламед помнил и решил его выполнить. Однажды, после отступа нашей артиллерии, Меламед нашел в лесу немецкого обер-лейтенанта, раненного в ногу, и потащил его на себе. Для нас, знавших физические возможности Меламеда, это было непредставимо. Ориентировки у Меламеда не было никакой: подготовка была спешной и к тому же компас был разбит при приземлении. Знание немецкого языка у Меламеда было плохонькое, но срок для пополнения знаний был предостаточный: он блуждал, таская на себе Пауля, около месяца. Меламед проделал Паулю операцию, выковыряв у него из ноги осколок своим кинжалом, смастерил ему костыль из молодых березок, и немец кое-как заковылял вместе с Меламедом в сторону плена, спасительного среди осточертевшей ему войны. А по пути они подружились, и Пауль научил Меламеда петь тирольские песни. При пересечении линии фронта, видя, как Меламед обнимается с немецким обер-лейтенантом на прощание, работники СМЕРШа на всякий случай арестовали Меламеда, но потом отпустили ввиду его явной неспособности быть немецким шпионом...

Вот и вся необычная история Исаака Меламеда — победителя, которого сейчас уже нет. Историю эту я вспомнил потом, что она дает нам зывающий к разуму пример. Если даже во время войны люди, находившиеся по разные стороны фронта, смогли подружиться, то почему это невозможно во время того состояния человечества, которое мы с грустной иронией, но все-таки можем назвать миром?

Москва — медведица

Есть разные толкования происхождения слова Москва. Если идти по классической этимологии, то Лиссабон происходит от Улисса, Париж — от Париса, Москва — от Мосоха, внука Ноя. По скифскому варианту Москва — это охотница. По одному славяно-фильскому варианту Москва — производное от слова “мост”, по другому — это болотистая местность. Я не специалист в этимологии, и мне трудно разобраться, кто прав. Но лично мне ближе всего догадка дореволюционного ученого С.К. Кузнецова, что слово Москва мерянско-марийского происхождения:

“маска” — медведь, “ава” — мать, то есть “медведица”. Это самое поэтическое предположение, и весьма похоже на правду, потому что когда-то на месте Красной площади были дремучие леса, кишевшие целыми колониями этих великолепных, теперь, к сожалению, исчезающих зверей. Медведи есть и в других странах, но почему-то медведь для многих иностранцев давным-давно стал символом России.

Есть Москва бюрократическая, но это не моя Москва. Душу ни одного города нельзя искать в среде его бюрократии. Есть Москва торгашей, фарцовщиков, спекулянтов всех мастей, но это тоже не моя Москва. Моя Москва — это трудовой город, где строят новые дома, ищут лекарство от рака, пишут картины, стихи, музыку. Моя Москва — это лирический город свиданий под часами, постукивания костяшек домино в зеленых двориках.

Этот город живет нелегко, и в нем многого еще не хватает. Но я бывал в таких городах, где всего полно в магазинах, а на столе, когда приходят гости, почти пусто. Москва — это такой город, где бывает пусто на прилавках, но не может быть пусто на столе, когда приходит гость.

Рожденная в 1127 году инстинктом самосохранения раздробленной тогда нации, Москва стала ее многострадальным сердцем, щитом, закрывавшим Европу от татарских нашествий, приняв все удары на себя. Сожженная много раз, она каждый раз снова возрождалась из пепла. Пепел Москвы, прилипший к сапогам Наполеона, был настолько тяжек, что любимец славы еле унес ноги из России. Но Москва страдала не только от иноземцев, но и от своих собственных тиранов. Много русской кровушки было пролито в Москве русскими, много вольнолюбивых голов было сложено на плахах Москвы. Эти люди, погибшие за свободу, чьи тени невидимо скользят сегодня мимо зеленых огоньков московских такси, неотъемлемы от вечного духа этого города. Эти тени — тоже моя Москва.

Пушкин, который так любил Москву, сказал о ней:

Москва! Как много в этом звуке
для сердца русского слилось,
как много в нем отозвалось!

Пастернак, которому в Москве тоже когда-нибудь будет поставлен памятник, писал о ней так:

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
всего, чем будет цвезть столетье.

А сейчас, когда иду по Москве, я иду мимо моего первого поцелуя, мимо моей первой обиды, а если будут новые обиды, то, стоит мне войти в стеклянную коробку любого телефона-автомата, я всегда найду телефонный номер какой-нибудь квартиры, где примут в любой час дня и ночи, нальют мне чаю или чего-нибудь покрепче, разогреют на газовой плите холодные котлеты и дадут денег, если нужно...

Но надо спешить набирать этот телефонный номер, потому что в стекло стучится монетками новое нетерпеливое поколение, у которого уже тоже есть свои московские тайны...

1981 — 1989

РЕЧЬ НА ВТОРОМ СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Уважаемые депутаты! Я не хочу отвечать на прозвучавшее здесь недостойное обвинение в мой адрес, потому что это давно знакомые для меня попытки поссорить нашу интеллигенцию с руководителями нашей партии, с нашим Президентом. В свое время удалось спровоцировать Хрущева на ссору с интеллигенцией. Вы помните, к каким печальным последствиям это привело наше общество. На сей раз это не удастся, потому что мы поддерживаем перестройку и поддерживаем ее инициатора. Но есть здесь человек, с которым я хотел бы подискутировать.

Уважаемые депутаты, уважаемый молодой генерал Сурков! В 1960 году еще молодой Евтушенко написал вместе с композитором Колмановским песню "Хотят ли русские войны". Но тогдашние высокопоставленные цензоры из политуправления армии мундирной стеной встали на пути этой песни к народу, обвинив ее в демобилизующем воздействии на дух советских воинов. Это все кажется сейчас диким, неправдоподобным после того, как эта песня все-таки пробились и в замечательном исполнении хора Советской Армии триумфально обошла весь земной шар.

У меня в Вам добрый совет старшего не по чину, а по возрасту товарища, уважаемый молодой генерал: не спешите с обвинениями в адрес литературы, вспомните из недавней истории, что многие нападки на литературу с трибуны, на которой герб государства, очень часто кончались подрывом престижа не литературы, а государственных деятелей. Ей-богу, Вы ошибаетесь, уважаемый молодой генерал, по адресу стихотворения "Подавляющее большинство", в котором нет никакого конкретного адреса, никакого конкретного обращения к нашему Съезду. (Шум в зале). Это стихотворение философское, оно гораздо шире темы Съезда народных депутатов, ибо основывается на всем печальном историческом опыте человечества и нашей страны. (Аплодисменты). Вспомним, ведь не так давно подавляющее большинство писательских собраний произносило анафему Пастернаку, а потом Солженицыну. Ваше счастье, досточтимый молодой генерал, что вы родились в 1945 году и не могли быть

арестованным в 1937-м вместе с Тухачевским и другими красными командирами, когда подавляющее большинство на многих собраниях требовало их расстрела как врагов народа.

И не моя вина, если некоторые строчки этого стихотворения задевают кое-кого и на этом Съезде, но отнюдь не всех депутатов, а только тех, которые не давали говорить академику Сахарову, затыкали ему рот и почтили наконец этого великого гражданина минутой уважительного молчания только после его смерти. Давайте же, товарищи депутаты, будем добрее друг к другу, хотя бы после этого горького урока — преждевременного ухода Сахарова.

Уважаемый молодой генерал! Еще маленький экскурс в историю. Со времен Пушкина, Лермонтова русское прогрессивное офицерство и свободолюбивая поэзия всегда поддерживали друг друга. Многие офицеры были прекрасными поэтами.

Молодой Симонов ощущал на фронте дружескую руку Жукова. Когда маршал оказался в опале, поэт не предал его, как это ловко и легко сделали некоторые политобозники с золотыми погонами. Именно они осуществляли бесстыдное цензурное насилие над мемуарами Жукова, умаляли его заслуги. Именно они непомерно, до пародии, раздували малоземельный героизм Брежнева, пытались реабилитировать Сталина и в то время содрали погоны с мужественного офицера, защитившего честь нашей армии, отказавшегося стрелять в рабочих в Новочеркасске в 1962 году. И они пихнули в психушку правозащитника генерала Григоренко.

Я глубоко уважал и уважаю многих честных политработников, но давайте признаем, что еще со сталинских времен завелось особое подразделение идеологических пожарников. Это своего рода генералы, которые неблагодарно поливали из всех шлангов лучшие книги о войне: “В окопах Сталинграда” Некрасова, “За правое дело” Гроссмана, “Мертвым не больно” Быкова, военные дневники Симонова.

Тем временем, чуть ли не сбив золотые кресты Василия Блаженного, на Красную площадь преспокойненько уселся нахальный заграничный аэрокуренок, весьма довольный тем, что наши идеогенералы вдохновенно посвятили себя полностью литературно-критической деятельно-

сти. (Аплодисменты.)

Товарищи! Выступавший генерал Сурков, по моим часам, говорил на три с половиной минуты больше.

(Председательствующий: Нет.)

Стоит ли сейчас тратить столько боевых снарядов на писателей, чтобы атаковать нашу прессу: и "Огонек", и другие издания, оскорбительно называя наших товарищей, и среди них народных депутатов, "желтой прессой" только за то, что они справедливо, в интересах самой армии, ставят вопрос об очищении ее от "дедовщины", от рукоприкладства, от недостаточной культуры?

Эта недостаточность сказалась недавно, когда один заслуженный генерал публично излагал свою точку зрения на тбилисские события. Он имел на это, конечно, полное право. Но меня больно кольнуло, что в пылу оправдательной полемики у него не хватало такта, культуры просто по-человечески высказать горькое соболезнование по поводу трагически погибших грузинских девушек и других жертв.

Мой уважаемый молодой генерал! Не надо нам ссориться, не надо конфронтаций. Давайте одновременно повысить культуру отношения писателей к армии и культуру отношения армии к писателям. Давайте все-таки искать консенсус, уважаемый молодой генерал. Я предлагаю консенсус в следующем виде: мы — за то большинство народа, которое хочет мира, справедливости, обеспеченности, здоровья, счастья. Мы — за то большинство, которое уважает права меньшинства или национального, или политического. Но мы против большинства, которое подавляет меньшинство, и против меньшинства, подавляющего большинство. Неужели мы не проголосуем вместе за такой консенсус, уважаемый молодой генерал! (Аплодисменты.)

ПЕЧАЛЬНО, НО ТВЕРДО

Где-то в середине семидесятых Сахаров пригласил меня к себе на квартиру и предложил подписать коллективное письмо, требующее отмены смертной казни. Я тоже был за эту отмену, но в то время не особенно верил в действенность коллективных писем. Их авторов, так называемых “подписантов”, затем начинали “таскать на ковер” по отдельности. Некоторые из них отрекались от своих подписей, говоря, что их ввели в заблуждение, калялись. Бюрократия не только карала — они и покупала, и раскалывала. Эпоха казней на плахах прошла — настало время тихого удушения в подъездах. В “черные списки” попадали не только имена людей, выступавших прямо против правительства, но и просто с гуманными инициативами. Часть либеральной интеллигенции, корчась под прессом “культы безличности”, вела себя по советской модификации галилеевского восклицания: “А все-таки она вертится...”, добавляя под давлением: “...но, конечно, только по указанию партии”.

Я сказал Сахарову, что напишу собственное письмо с требованием об отмене смертной казни. Сахаров понял мои доводы и сказал, что это тоже было бы неплохо. Я добавил, что тем не менее не верю в положительный результат этих писем. Сахаров задумался и печально, но твердо сказал: “Да, конечно, вы правы... В данной ситуации это, конечно, лишь жест... Но сейчас и гуманный жест важен... Даже если он безнадежен...”

Сахаров не переубеждал меня, но и его переубедить было невозможно. Он помолчал, видимо, перебирая в памяти редкие оставшиеся имена известных интеллигентов, которые могли бы подписать это коллективное письмо, и спросил: “Вы близко знакомы с Любимовым. Может быть, он подпишет?”

Театр на Таганке, руководимый Любимовым, тогда находился под постоянными угрозами снятия главного режиссера, и я ответил: “Подпись Любимова под письмом ничего не решит, но после этого мы можем потерять любимовский Театр на Таганке”. Сахаров взглянул на меня своими добрыми, застенчивыми и в то же время сильными, бьющими прямо в совесть глазами и так же печально, но твердо спросил: “А не кажется ли вам, что если

наша интеллигенция не будет подписывать такие письма, то тогда мы потеряем всех и уже навсегда: и Театр на Таганке, и самого Любимова, и многое другое?”

Впоследствии Сахаров — увы! — оказался прав.

Так он и жил печально, но твердо. Что изменило преуспевающего с юности ученого-атомщика, обладателя трех Золотых Звезд Героя Социалистического Труда, которому при жизни, согласно закону, должны были поставить памятник? Что превратило его, такого далекого по характеру от политики человека, в одну из центральных политических фигур эпохи?

Традиционные для русской интеллигенции муки совести.

Водородная бомба, над которой он работал, в конце концов привела к тому, что его собственная совесть взорвалась, как бомба, подорвав устой самого крупного в мире милитаристского блока, угрожающего всему человечеству, — бюрократии. Борьба Сахарова была новой по качеству — тонкая, правовая, интеллигентная. Сахаров проявил даже по отношению к бюрократии свою обычную вежливость и воспитанность, послав брежневскому правительству свой дилетантский, пророческий манифест о мирном сосуществовании, где он провозгласил теорию конвергенции между социалистическими и капиталистическими странами как единственное спасение. Бюрократия не просто отвернулась от Сахарова, но, как многоголовое чудовище, защелкала множеством оскаленных, плюющихся, больно кусающих пастей!

Сахаров оказался в положении Пастернака, не будучи политиком, но невольно попав в эпицентр политики, потому что при бессовестной административной системе действующая совесть есть явление политическое. Но Сахаров пошел дальше Пастернака и героически пожертвовал наукой, сознательно стал политическим борцом. Как политический борец, Сахаров был уникален, ибо мировая история еще не знала такого мягкого, застенчивого бойца, такого интеллигентного, неловкого героя. Сахаров был уникальным политиком, потому что в нем не было ничего от политического профессионального цинизма, но его безоружная мудрая наивность, граничащая с детскостью, подняла позорно падший престиж политики как таковой. Сахаров был уникальный патриот, который протестовал против наших войск в Праге, затем в Афганистане и тем самым доказал, что если патриотизм по отношению к Ро-

дине входит в противоречие с патриотизмом по отношению к человечеству, то он перестает быть патриотизмом.

Сахаров жил по старинному английскому принципу: только настоящий джентльмен берется за безнадежное дело. Но тем не менее дела, за которые он брался, не оказались безнадежными. Да, после телефонного звонка Горбачева в Горький Сахаров вернулся из ссылки: перестройка и гласность оказались возможны не только благодаря Горбачеву, но и благодаря Сахарову, и всему правозащитному движению.

Официально заявленный нашим правительством призмат общечеловеческих ценностей над классовыми интересами — разве это не сахаровский тезис, который еще недавно называли “антипатриотичным”? Разве ставка на развитие совместных предприятий с зарубежными партнерами — это не есть первые, неуклюжие, но обещающие шаги не так давно оплеванной сахаровской “конвергенции”? Разве в том, что разрушилась берлинская стена, помог не Сахаров, призывавший к разрушению идеологических барьеров? Оказалось, что политический дилетантизм с чистой совестью гораздо результативней профессионального политиканства, у которого совесть нечиста. Когда еще вчера живой Сахаров с флажком депутата на лацкане шел на Съезд по кремлевским торцам, скользким от пролитой в истории крови, то его фигурка казалась крошечной и беззащитной перед гигантскими брокенскими тенями Ивана Грозного, Сталина. Но после смерти Сахарова его тень, навеки впечатанная в кремлевские стены, будет все увеличиваться и увеличиваться, а тени тиранов — уменьшаться.

Сахаров не возник на голом месте. Он был рожден всем лучшим, что нам оставила великая русская интеллигенция. От Толстого он взял и осуществил на практике тезис непротivления злу насилieм. От Достоевского — тезис о том, что все лучшие идеалы человечества не стоят слезы невинного ребенка. От Чехова — тезис о том, что нет маленьких людей и маленьких страданий. Сахаров победил. Печально, но твердо.

очердей,
и тюрем,
и больниц,
не привыкай
после убийств миллионов
к потере гениальных единиц.
Народа стержень —
это единица.
Из личностей народ —
не из нулей.
О, Родина, —
чтоб не обледениться,
будь наконец-то к гениям теплой.
Мы слишком слиплись
с низким и нечистым,
и, сложности решая грубо,
в лоб,
еще поплачем по идеалистам,
которых мы вгоняем сами в гроб.
Сумеет ли,
избегнув безучастья,
ни совестью, ни духом не упасть,
и заслужить свободу полновластья,
где власть — у всех,
и только совесть —
власть?!

Сплотимся на смертельном перевале!
Лишь бы сердца
под тяжестью любой
не уставали,
не забастовали...
Пока есть завтра,
завтра будет бой.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ МЫСЛИ НЕСЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

(Доклад на 175-летию М. Лермонтова, произнесенный 17 октября 1989 года в Колонном Зале Дома Союзов в Москве.)

Достоевский в статье “Лучше поздно, чем никогда” сказал о Лермонтове так: “Лермонтов, фигура колоссальная, весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина. Он ступал, так сказать, в его следы... Вся разница во времени. Лермонтов ушел дальше временем, вступил в новый период мысли, нового движения европейской и русской жизни...”

Тогда было естественно взаимопротекание философии, наук, литератур, живописи, музыки через границы европейских государств. Не только западники, но и славянофилы прекрасно говорили на французском, который был тогда языком общения. Тезис об общеевропейском доме, снова выдвигаемый сейчас, мог бы осуществиться и тогда, если бы не выстрел в Сараеве, перешедший затем в первую мировую войну и все ее трагические последствия. Железный занавес, стремглав опущенный, как гильотина, отколол нашу культуру от многих ведущих тенденций в искусстве, в науке, которые наша страна, неиссякаемая на таланты, щедро подарила и Европе, и всему миру. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов тем не менее всегда оставались всемирным паролем, всемирным доказательством величия нашей культуры, даже когда к ней, как к княжне Мэри на балу, развязно полезли распустившиеся пьяные рожи, пытаясь ангажировать ее на свою кровавую мазурку.

Всемирность нашей классики была основана на русскости, а русскость — на всемирности.

Одно из самых великих слов, подаренных русским языком миру, стало отныне вошедшее во все словари мира слово “интеллигенция”. Но по трагическому парадоксу в нашей стране становилось все меньше и меньше тех, кто это понятие воплощал. Одни оказались в эмиграции, другие гибли в подвалах Лубянки, за колючей проволокой лагерей, третьим заткнули рты кляпами из газет и резолюций, четвертые пали смертью храбрых, сражаясь с фашизмом. И все-таки, несмотря на такие чудовищные

потери этого предполпотовского самогеноцида, наша интеллигенция, наша культура выжили, не выпали из общемирового контекста, и во многом благодаря могучему запасу нравственной прочности нашей классики, включая Лермонтова.

Джордж Оруэл в своих антиутопиях описал надсмотр - щиков наблюдавших за людьми так называемого Большого Брата. Страх такой будет спасать другой страх — не унижительный, а очистительный — страх перед собственной совестью. Именно этот страх перед собственной совестью и есть гражданская смелость. А кто в нас воспитал такой драгоценный страх? Русская классика. Ведь, действительно, страшноватенько в конце своей жизни заслужить такое лермонтовское пощечинное определение:

И прах наш с строгостью судьи гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Мы сейчас находимся в периоде генетического восстановления. Но культура не воскрешается, а именно восстанавливается, да не по хромосомам, не по целым генам, а даже по их крошечным дольчкам. Восстанавливать культуру не менее трудно и долго, чем Храм Христа Спасителя, взорванный в одно мгновение удалой рукой одного из шариковых. Но без восстановления культуры, интеллигенции невозможно молниеносное экономическое чудо, которого, конечно, так хотелось бы всем нам. И поддаваться пессимизму, паникерству — это еще одно доказательство нашей недостаточной культуры и интеллигентности. Полный пессимизм — это такая же духовная ограниченность, как и полный оптимизм. Еще совсем юный Лермонтов предостерегает нас из прошлого и от

Сомнений ложно-черных,
И ложно-радужных надежд.

Некоторые литературоведы интерпретируют стихотворение Лермонтова

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья...

как якобы насмешку над романтизмом. Перечитайте

хотя бы “Тамань“, “Бэлу“, “Пророка“, и вы увидите, что Лермонтов без романтизма невозможен. Но почему он боролся с чужим и собственным романтизмом, порой прибегая к безжалостной иронии? Потому что он знал, что безответственный романтизм, приводящий к интимным и общественным иллюзиям, смертельно опасен и что пропасти всего мира усеяны костями романтиков, завешенных туда иногда другими романтиками, а иногда и лже-пророками. Вся тайна великой русской классики — это муки совести — и за свою жизнь, и за все сразу жизни на свете. Русская классика — это всеотклик, всеответственность. Вот что соединяет и пушкинское “и мальчишки кровавые в глазах“ и лермонтовское “И вы не смаете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!“, и вопиющую кровь стольких невинных жертв на страницах “Архипелага Гулаг“. Лермонтов родился не от женщины, а от пули, которая убила Пушкина. После Лермонтова уже нельзя быть русским поэтом, если в тебе нет мук совести за всех безвинных кого убили. Эта безвинная вина — вина облагораживающая, возвышающая. Но как же не совестно тем, кто виноваты в чьих-то убийствах или травле, но до сих пор не только не находят в себе мужества для покаяния, но и высокомерно, не по христиански оправдывают якобы исполнявшимся общественным долгом? Если мы уж восстанавливаем культуру, то прежде всего надо начинать с восстановления культуры совести. Но культура невозможна не только без совести, но и без тонкости. Наше время- время не поэтизации, а политизации сознания. Политизация, конечно, лучше, чем гражданская спячка. Но если главное сводится лишь к политике, мы невольно огрубляемся, теряем душевную чуткость, тонкость, и именно из-за отсутствия тонкости порой не в состоянии решить ни политических, ни экономических проблем. В истории слишком прямые ходы заводят в лабиринты. Амбициозный материализм на деле оказывается разрушителем не только нравственных, но и материальных ценностей. Давайте будем честными сами перед собой и признаемся, что в последнее время мы стали гораздо больше читателями газет, чем читателями книг. Книги мы все еще жадно хватаем, ибо обладание ими есть приятная видимость интеллигентности. Современная шариковщина есть комфортабельная мебелированность нечитаемыми мыслями гениев.

Классика нуждается не только в постоянной читаемости, но и в перечитываемости.

Несладко бы пришлось в наше время индивидуалисту Лермонтову, не прибавшемуся ни к одному стаду. Серость у нас почему-то не только прощительна, но и поощряема, а вот индивидуализм наказуем. Но не скрывается ли под обвинениями в индивидуализме животный страх перед сильными индивидуальностями? Какая разница: будет у нас одностадность или многостадность, если так бездуховно соединение в одно стадо или в разные, бодающие друг друга стада? Тоталитаризм посредственностей или плюрализм посредственностей одинаково опасен. У серости и так достаточно свободы для развития. Лишь свобода для развития сильных и добрых индивидуальностей может привести к нравственному и экономическому расцвету. Нам нужно учиться терпимости к резко обозначенным характерам, даже если их манера общественного поведения не слишком удобна для оберегателей комфортабельного статус-кво. Кажущиеся сотрясателями основ крупные индивидуальности нередко затем оказываются этими самыми основами. Так было с Лермонтовым. О "Герое нашего времени" царь Николай I так отозвался в письме императрице от 24 июня 1840 года: "Такие романы портят нравы и портят характер... Это жалкая книга, показывающая большую испорченность автора".

Лермонтов так отвечал на это: "Вы скажете, что нравственность от этого не выиграет? Извините. Довольно людей кормили сладостями: у них от этого испортился желудок: нужны горькие истины". Но таких горьких истин не хотели, да и сегодня не хотят слышать псевдосберегатели псевдонравственности. В экономическом и нравственном кризисе они обвиняют не сами условия, этот кризис породившие, а писателей, журналистов, как будто они своими перьями устроили все катастрофы. Гоголь когда-то отвечал этим монополизаторам патриотизма так: "Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий: но горе ему, если он не сумел скрыть всех ее недостатков".

Герцен тончайше заметил, что Лермонтов имел несчастье быть пронизательным, к которому присоединилось и другое — он смело высказывался о многом без пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, ни-

когда не простят этого..." Герцен с горечью добавил: "О Лермонтове говорили, как о бальном отпрыске аристократической семьи, как об одном из бездельников, которые погибают от скуки и от пресыщения. Не хотели знать сколько боролся этот человек, сколько выстрадал прежде чем отважился высказать свои мысли..."

Наша историческая вина в том, что и после смерти Лермонтова мы не хотели знать и сколько выстрадали прежде, чем отважились высказать свои мысли. Платонов и Булгаков, и Пастернак, и Мандельштам, и Шаламов, и Солженицын и не дай бог, если мы когда-нибудь снова повторим это нежелание знать страдальческую цену чьей-то гражданской отваги.

Нежелание знать — это одно из самых разрушительных зол нашей жизни. Вранье, что о сталинских лагерях большинство населения якобы не знало. Знало, но пряталось за нежелание знать. О возможной трагедии в Чернобыле профессионалы предупреждали — но нежелание знать затыкало уши. Так ли уж невинно зло, приносимое знать, да и бывает ли невинное зло?

Лермонтов с поразительной философской для его совсем — худо по нашим меркам — возраста раскрыл взаимосцепления зла так: "Зло порождает зло: первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого: идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. Лермонтов отвергал человеческую одномерность, и через Печорина показал душу человеческую, как постоянное поле битвы добра и зла его нежность в любви, и одновременную жестокость, его преданность друзьям и постоянные их дразнилки. Но Печорин, если и был беспощаден к другим, то прежде всего и к самому себе, говоря: "Я сделался нравственным калекой: одна половина моей души не существовала: она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее второй половины". Это настолько перекликалось со стихами Лермонтова, что сливалось в единую исповедь.

Спасем нашу классику от занудных учителей, от лощеных диссертантов. Спасая классику от нашего собственного невежества, умственной лени, мы спасаем не только себя, но и детей наших.

Я уверен в том, что нашей стране в конце концов предстоит великое будущее.

Как может не быть великого будущего у народа с такой великой литературой?

Какие мы счастливые тем, что мы — наследники столь щедро оставленных нам предостерегающих мыслей такого несчастливому человека, как Лермонтов.

ПОМОЖЕМ СВОБОДЕ

Прочитано на митинге в Москве 4 февраля 1990 года

О, Боже,
как медленно входит свобода в привычку!
На горле свободы
сжимается черная сотня в кольцо,
И, словно булыгами
из темноты в электричку,
сегодня камнями швыряют
свободе в лицо.
Хоть падай с молитвой
березонькам в белые ноги,
но только бы очи свободе
не выклевало воронье.
Свобода изранена.
Просит свобода подмоги,
Иначе подменят опять
несвободой ее.
Что сделать, свобода,
чтоб ты не сдалась,
не пропала
и к людям припала,
врачуя все раны в стране?
А цены растут —
лишь цена человеческой жизни упала,
и честь и достоинство
тоже упали в цене.
Над нами цари
предостаточно нацаревались,
над нами “вожди” наводжились...
Довольно с народом войны!
Свободные люди —
единая национальность:
внутри ее
нации все остальные
вольны и равны.
Мы — дети великой культуры
и совести вечной российской,
и мы не позволим
свободу загнать ни в погромы
и ни в лагеря...

Мы все — за свободу,
но не за свободу расистов,
Мы все — за свободу,
но не за свободу воря.
Поможем свободе.
Нам надо собраться,
решиться!
Свобода, не будь простодушна, —
на проповедь силы опять не купишь!
Мы все — за свободу,
но не за свободу фашизма.
Мы все — за свободу,
но не за свободу убийц

1989-1990

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ РАСИЗМА

Это слово “расизм“, к которому нам прививали отвращение с детства, мы всегда воспринимали как нечто далекое от нас, зарубежное, капиталистическое... Старшие из нас помнят негритенка из фильма “Цирк“, спасаемого от американского расиста и бережно передаваемого из рук в руки...

В нашей конституции законодательно осуждается разжигание ненависти между народами. Одно из звериных лиц расизма мы увидели во время второй мировой войны, в которой победили все народы нашей страны. Но затем мы увидели другое лицо расизма, уже нашего, отечественного. Государственный геноцид по отношению к целым народам — к калмыкам, чечено-ингушам, крымским татарам. ...Убийство великого еврейского актера Михоэлса, разгром так называемых космополитов в 1949 году, дело “врачей-отравителей“ в 1953 году, чудовищные антисемитские фельетоны в газетах... После смерти Сталина сначала казалось, что все это никогда не повторится. Мы искренне возмущались американским Ку Клукс Кланом, варфоломеевскими ночами в Ирландии, бесконечными кровопролитиям на Ближнем Востоке.

Однако расизм, как СПИД, не знает границ. Микробы расизма прекрасно развивались в питательной среде застоя — в кадровой политике, где пятый пункт в анкете приобрел такое трагическое значение. В последнее время, содрогаясь от негодования и стыда, мы видим вспышки разгулявшейся эпидемии расизма то на собственной улице, то в ближайшем городе, то в далекой республике.

18 января это случилось в Москве, в Центральном Доме Литераторов. Было намечено собрание движения писателей в поддержку трибуны “Апрель“. Однако еще часа за два до собрания в зале расселась группа не имеющих отношения к литературе лиц (примерно человек пятьдесят, большинство с Георгием Победоносцем на груди). Они, вооруженные мегафоном, устроили антиперестроечный шовинистский шабаш, спровоцировав драку, оскорбляя писателей, и среди них народных депутатов СССР черносотенными выкриками и физическими противоправными действиями, размахивая антисемитскими лозунгами. Сыпались угрозы о готовящемся еврейском погроме. Эти новоявленные

отечественные нацисты выкрикивали: “Жиды пархатые!”, “Убирайтесь в ваш Израиль!” всем присутствовавшим...

Патологическая расистская ненависть привела их к тому, что им любой неантисемит уже кажется евреем. Как, например, иначе можно интерпретировать лозунг “А.Н.Яковлев, убирайся в Тель-Авив!”? Несколько дюжих молодцов зверски избили известного русского писателя Анатолия Курчаткина, пытавшегося утихомирить, разбили ему очки, повредили глаз, ударили одного из старейших прозаиков — Елизара Мальцева. В своем разгуле эти распоясавшиеся боевики русского нацизма доходили до того, что нападали даже на женщин-писательниц, невзирая на преклонный возраст некоторых из них. Вандалы были выдворены из зала лишь при помощи припоздавшего усиленного наряда милиции, причем ряд зачинщиков непонятным образом затем ускользнул от милицейского протокола. Ясно одно — это был не стихийно возникший скандал, а подготовленная акция. Создается впечатление, что экстремисты из общества “Память” и примыкающие к ним организации делают ставки на беспорядки, надеясь, что они приведут к имперской милитаризованной диктатуре.

Сегодня одной из самых опаснейших форм организованной преступности является расизм. Расизм — это спекулятивная подделка под борьбу за народные интересы. На самом деле расизм — это инструмент для манипулирования народом в карьеристских целях узкой реакционной группы.

Шабаш в нашем писательском доме мы закономерно связываем с антисемитским настроем последнего пленума СП РСФСР, который в свою очередь был синхронизирован со сборищем такого же сорта, организованным “Памятью” на Красной площади. Эти и другие взаимосвязанные акции в Москве и Ленинграде подкрепляются постоянной идеологической артподготовкой в ряде статей с явным расистским привкусом, публикуемых в “Молодой гвардии”, “Нашем современнике”, “Литературной России”, “Ленинградской правде”, “Московском литераторе” и других изданиях. Нас горестно поражает позиция некоторых известных писателей, состоящих членами редколлегий этих изданий. Порой они не только пассивно позволяют использовать свои имена, но и открыто поддерживают расистские тенденции. Хочется напомнить таким

писателям, что переход на реакционные позиции обычно кончается творческим бесплодием. Присоединение к расизму не породило еще ни одного великого писателя, а вот дискредитировало многих.

Мы с гневом и презрением осуждаем все виды национализма и шовинизма, включая антисемитизм. В предыдущем заявлении "Апреля" по национальному вопросу уже было сказано: "Единого фронта русского шовинизма не будет". Сейчас в этой накалившейся обстановке мы говорим так: есть и будет единый неколебимый фронт против шовинизма, против любого насилия, каким бы национальным флагом оно ни прикрывалось. Мы призываем сомкнуться в этом едином фронте всех граждан нашей страны, рабочий класс, не утративший чувство пролетарской солидарности, интеллигенцию, не забывшую свое гуманистическое предназначение.

К нашей совести вызывают жертвы резни в Баку, Сумгаите, Фергане, Узени, азербайджанские беженцы из Армении, и армянские беженцы из Азербайджана, и жители Нагорного Карабаха, где днем и ночью гремят выстрелы, и мирные немцы Поволжья, неизвестно почему расплачивающиеся за преступления фашизма, и крымские татары, возвращающиеся на землю предков, где поворовски поджигают их палаточные городки.

Имперское мышление нам должно быть чуждо, ибо закон истории однозначен: все империи в конце концов разваливаются. Но мы не за развал межнациональных и человеческих взаимоотношений, а за свободный союз свободных суверенных народов. Мы должны защитить и право прибалтийских народов на суверенный путь развития, и право русских людей и людей любой другой национальности, живущих в Прибалтике, не терять уверенности в завтрашнем дне. Нестерпимо больно видеть бездомность турков-месхетинцев, трагические конфликты в Тбилиси, южной Осетии, Абхазии.

Мы против насильно захватываемого права считать только одну точку зрения истиной в последней инстанции, ибо это своего рода идеологический расизм. Мы против того, чтобы только одна религия считала себя представительницей Бога и призывала к войне против других религий и верующих, ибо это — религиозный расизм.

Хватит огня и крови! Хватит недоверия, взаимных

претензий, упреков, доходящих до тупикового взаимоозлобления.

Хватит национального эгоизма, хватит любой национальной “местечковости!”

Давайте взглянем в глаза друг другу. Разве у нас не общие беды?

Разве ум и совесть определяются только анализом крови?

Мы с горечью и болью видим вокруг себя расизм — не импортированный, а самодельный, самостроковый, отечественный. Неужели мы дойдем до нового гигантского самогеноцида, до гражданской войны? Ведь может быть, никто больше нас не знает, что гражданская война это прежде всего братоубийство.

Мы верим в духовный потенциал каждого в отдельности народа нашей страны и всех ее народов вместе. Мы — за демократический плюрализм, но не за потворство фашизму. Иного имени нет для пропаганды ненависти к другим народам. Мы требуем, чтобы наше правительство наконец-то начало применять всю силу закона против погромщиков, пытающихся использовать демократию только для того, чтобы ее задушить.

1989 — 1990

НЕПРОИЗНЕСЕННАЯ РЕЧЬ

Цепочка происхождения преступлений, по-моему, следующая: скука — хулиганство — преступность — организованная преступность. Начало всего нужно искать в скуке, в тоске зеленой, когда душа изнывает от социальной униженности, собственной никому ненужности, от духовной незанятости. Возникает саднящий комплекс неполноценности, толкающий подростков к уродливейшей форме протеста — к хулиганству. Хулиганство есть подложное доказательство самому себе, что ты отнюдь не какое-нибудь жалкое ничтожество, не какая-нибудь серятина, а мятежник, гордый бунтарь против устоев. Когда подростки инстинктивно восстают против устоев бюрократии, общественного лицемерия — эта мятежность есть душевное здоровье, от которого не надо лечить ни дидактикой, ни полицейщиной.

Но страшно, когда мятежность направлена против устоев нравственных, когда “все дозволено”, когда только для того, чтобы “выделиться из толпы”, выделяются не талантом, не умом, а жестокостью, когда юноши носят в медальонах портреты Гитлера, когда любовь заменяется “групповухой”, когда девочкам в школе приходится скрывать целомудрие, чтобы не подвергнуться насмешкам.

Хорошие книги — это воспитатели, которые прививают отвращение к преступлениям. Но где их взять, хорошие книги? Книжный дефицит, дефицит пластинок симфонической музыки, дефицит билетов на хорошие спектакли, отсутствие молодежных клубов, где можно поспорить о политике, о литературе, “развлекуха”, “тусовка” вместо духовного общения — это организованная преступность бездуховности, переходящая в организованную преступность как таковую.

На самом деле хулиганство есть рабство, ибо это порабощенность собственными темными инстинктами. Хулиганам почти всегда нужна аудитория — пусть даже в единственном числе, перед которой они могут “пофигистулировать”: пофасонить своей исключительностью. Помоечный геростратизм, подъездное наполеонство, закоулочное гестаповство...

Неправда, что большинство наших подростков — изначально циники. Когда я объявил через газету конкурс на

главные роли в моем фильме “Похороны Сталина“, то пришло много чудесных ребят, особенно девушек. Но вот что примечательно: мальчиков — кандидатов на роли “хулиганов“ было человек триста, а кандидатов на роль “интеллигентного мальчика“ — человек десять, и то некоторые из них больше, сами не понимая, подходят только под хулиганские типажи.

Кого же мы предлагаем в герои нашим подросткам, кто сейчас кандидаты в “делать жить с кого“? Павлик Морозов, несмотря на все старания реанимировать его образ, после наконец-то широко осужденной кампании раскулачивания вряд ли увлечет сегодняшних подростков. Павка Корчагин? Но он сражался против уклонистов, а подростки сегодня знают, что эти уклонисты были расстреляны, а потом реабилитированы. Хрущев для подростков — это смешной толстяк, который стучал по столу в ООН не то вареной кукурузой, не то ботинком. Брежнев для подростков — это шамкающий коллекционер иностранных автомобилей, зять-генерал которого был взяточником. Для подростков нравственным примером могли бы стать совсем другие люди — например, академик Сахаров. Но вот как пишет об этом кристальнейшем человеке В. Бушин в “Военно-историческом журнале“ (1989, № 11): “...старый уже человек перед лицом всего мира бросает соотечественникам тягчайшие обвинения...“ И это о том человеке, который во время осужденных нынче военных акций в Чехословакии и в Афганистане своими протестами спас репутацию нашей интеллигенции!

Не верю, что во чреве матерей уже находятся генетически закодированные преступники. В каждом из нас есть и низкое начало, и светлое — это то, что религия называет добром и злом. Но все зависит от того, для какого именно начала окружающая среда может быть наиболее благоприятна и что распечатают обстоятельства в нашей душе — дьявольское или божеское. Примерный подлиза — “отличничек“, готовый с детства предать товарища ради карьеры, — не менее опасен для общества, чем хулиган, ибо потенциальный бюрократ — это потенциальный преступник. Бюрократия — это организованная преступность. Она втягивает в себя кадры уже с детских садов.

Часто к преступности, в том числе и организованной, толкает организованная преступность самих обстоятельств

жизни, когда все клапаны для выброса позитивной энергии закрыты, а открыт лишь клапан для энергии негативной. Пока в нашей стране не будет условий для свободного развития честной предприимчивости — коллективной и личной, — она будет принимать формы незаконных действий. Дайте свободу честной предприимчивости, и вы увидите, как сразу сократится предприимчивость преступника. Экономический суверенитет республики, предприятия, личности — вот что нужно воспитывать.

Когда демократия не организована, то в любой момент может organizоваться резня. У нас возникают новые противоречивейшие осложнения: в некоторых случаях повышение национального достоинства одних людей — вольно или невольно — переходит в унижение национального достоинства их соседей. Может быть, это лишь эгоистический страх тех, кто чужой суверенитет малообразованно считает посягательством на все остальное? А может быть, сам суверенитет у нас — явление еще малообразованное, неуклюжее, а подчас и бестактное из-за своей закомплексованности и потому амбициозности?

Национально-социальную закомплексованность гораздо легче было бы лечить, если бы людей было чем занять, кроме низкооплачиваемого труда и высокооплачиваемых выступлений.

Мать всех преступлений — скука.

Спросим самих себя: почему в самой богатой ресурсами стране мы не используем эти ресурсы для духовного развития и позволили себе такую скуку смертную, от которой бесимся и корчимся? А ведь скука представляет собой тоже хорошо организованную преступность с профессиональными номенклатурными управляющими скукой, надсмотрщиками за соблюдение скуки.

Да, надо повышать средства на техническое вооружение по борьбе с мафией; но повысить и средства на духовное вооружение нашей культуры в борьбе с мафиозностью бескультурья. Организованная демократия против организованной преступности. Цепочке: скука — хулиганство — преступность — организованная преступность предлагаю противопоставить другую цепочку: духовность — свобода совести — свобода честной предприимчивости — организованная демократия.

ПОЛОВИНЧАТОСТЬ

Смертельна половинчатость порывов.
Когда узду от ужаса грызя,
мы прядаем, все в мыле, у обрывов,
то полуперепрыгнуть их нельзя.

Тот слеп, кто пропасть лишь полуувидел,
Не полупяться, в трех соснах кружа,
полумятежник, полуподавитель
рожденного тобою мятежа.

При каждой полумере полугодной
полународ остатний полурад.
Кто полусытый — тот полуголодный.
Полусвободный — это полураб.

Полубоимся, полубезобразим.
Немножко тот, а все же полутот —
партийный слабовольный Стенька Разин
полуидет на полуэшафот.

Определенность фронда потеряла.
Нельзя, шпажкой попусту коля,
быть и полугвардейцем кардинала,
и полумушкетером короля.

Неужто полу-Родина возможна,
и полусовесть может быть в чести?
Свобода половинная —
острожна,
и Родину нельзя полуспасти.

1989

Б4702010200-009 Без объявления
950(02)-90

ISBN 5-85087-009-1

Заказ 636. Тираж 100 000. Цена 7 р. Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград,
Фонтанка, 57.

7 руб.